

Борис Юлианович Поплавский

# Аполлон Безобразов



# Борис Юлианович Поплавский Аполлон Безобразов

*Текст предоставлен правообладателем  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=22140682](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22140682)  
Аполлон Безобразов: 1932*

## Аннотация

«...Шел дождь, не переставая. Он то отдалялся, то вновь приближался к земле, он клочкотал, он нежно шелестел; он то медленно падал, как снег, то стремительно пролетал светло-серыми волнами, теснясь на блестящем асфальте. Он шел также на крышах и на карнизах, и на впадинах крыш, он залетал в малейшие изубрины стен и долго летел на дно закрытых внутренних дворов, о существовании коих не знали многие обитатели дома. Он шел, как идет человек по снегу, величественно и однообразно. Он то опускался, как вышедший из моды писатель, то высоко-высоко пролетал над миром, как те невозвратные годы, когда в жизни человека еще нет никаких свидетелей...»

# Содержание

|            |     |
|------------|-----|
| Глава I    | 4   |
| Глава II   | 30  |
| Глава III  | 47  |
| Глава IV   | 70  |
| Глава V    | 115 |
| Глава VI   | 122 |
| Глава VII  | 141 |
| Глава VIII | 158 |
| Глава IX   | 167 |
| Глава X    | 175 |
| Глава XI   | 188 |
| Глава XII  | 210 |
| Глава XIII | 226 |
| Глава XIV  | 249 |
| Глава XV   | 268 |
| Глава XVI  | 281 |

# Борис Юлианович Поплавский Аполлон Безобразов

## Глава I

*Oiseau enferme dans son vol, il n'a jamais  
connu la terre, il n'a jamais eu d'ombre.  
Paul Eluard<sup>1</sup>*

Шел дождь, не переставая. Он то отдалялся, то вновь приближался к земле, он клокотал, он нежно шелестел; он то медленно падал, как снег, то стремительно пролетал светло-серыми волнами, теснясь на блестящем асфальте. Он шел также на крышах и на карнизах, и на впадинах крыш, он залетал в малейшие изубрины стен и долго летел на дно закрытых внутренних дворов, о существовании коих не знали многие обитатели дома. Он шел, как идет человек по снегу, величественно и однообразно. Он то опускался, как вышедший из моды писатель, то высоко-высоко пролетал над миром, как те невозвратные годы, когда в жизни человека еще

---

<sup>1</sup> Как замкнутая в своем полете птица, он никогда не касался земли, не бросал на нее свою тень. *Поль Элюар (фр.)*.

нет никаких свидетелей.

Под тентами магазинов создавался род близости мокрых людей. Они почти дружески переглядывались, но дождь предательски затихал, и они расставались.

Дождь шел также в общественные сады и над пригородами, и там, где предместье кончалось и начиналось настоящее поле, хотя это было где-то невероятно далеко, куда, сколько ни пытайся, никогда не доедешь.

Казалось, он идет над всем миром, что все улицы и всех прохожих соединяет он своею серою солоноватою тканью.

Лошади были покрыты потемневшими одеяниями, и, в точности, как в Древнем Риме, шли нищие, покрывши головы мешками.

На маленьких улицах ручьи смывали автобусные билеты и мандаринные корки.

Но дождь шел также на флаги дворцов и на Эйфелевой башне.

Казалось, грубая красота мироздания растворяется и тает в нем, как во времени.

Периоды его учащения равномерно повторялись, он длился и пребывал, и казался самой его тканью.

Но если очень долго и неподвижно смотреть на обои в своей комнате или на соседнюю голубоватую стену на той стороне двора, вдруг отдаешь себе отчет, что в какой-то неуловимый момент к дождю примешиваются сумерки, и мир, размытый дождем, с удвоенной быстротой погружается и исче-

зает в них.

Все меняется в комнате на высоком этаже, бледно-желтое закатное освещение вдруг гаснет, и в ней делается почти совершенно темно.

Но вот снова край неба освобождается от туч, и новые белые сумерки озаряют комнату.

Тем временем часы идут, и служащие возвращаются из своих контор, далеко внизу зажигаются фонари, и на потолке призрачно появляется их отражение.

И еще дальше идет, и безнадежно теряется время.

Огромные города продолжают всасывать и выдыхать человеческую пыль. Происходят бесчисленные встречи взглядов, причем всегда одни из них стараются победить или сдаются, потупляются, скользят мимо. Никто не решается ни к кому подойти, и тысячи мечтаний расходятся в разные стороны.

Тем временем меняются времена года, и на крышах распускается весна. Высоко-высоко над улицей она греет розовые квадраты труб и нежные серые металлические поверхности, к которым так хорошо прильнуть в полном одиночестве и закрыть глаза или, примостившись, читать запрещенные родителями книги.

Высоко над миром во мраке ночей на крыши падает снег. Он сперва еле видим, он накопляется, он ровно и однообразно присутствует. Темнеет и тает. Он исчезнет, никогда не виденный человеком.

Потом, почти вровень со снегом, вдруг неожиданно и без переходов приходит лето.

Огромное и лазурное, оно величественно раскрывается и повисает над флагами общественных зданий, над мясистой зеленью бульваров и над пылью и трогательным безвкусием загородных дач.

Но в промежутках бывают еще какие-то странные дни, прозрачные и неясные, полные облаков и голосов; они как-то по-особенному сияют и долго-долго гаснут на розоватой штукатурке маленьких отдаленных домов. А трамваи как-то особенно и протяжно звонят, и пахнут акации тяжелым сладким трупным запахом.

Как огромно лето в опустевших городах, где все полузакрыто и люди медленно движутся как бы в воде. Как прекрасны и пусты небеса над ними, похожие на небеса скалистых гор, дышащие пылью и безнадежностью.

Обливаясь потом, вниз головою, почти без сознания спускался я по огромной реке парижского лета.

Я разгружал вагоны, следил за мчащимися шестернями станков, истерическим движением опускал в кипящую воду сотни и сотни грязных ресторанных тарелок. По воскресеньям я спал на бруствере фортификации в дешевом новом костюме и в желтых ботинках неприличного цвета. После этого я просто спал на скамейках и днем, когда знакомые уходили на работу, на их смятых отельных кроватях в глубине серых и жарких туберкулезных комнат.

Я тщательно брился и причесывался, как все нищие. В библиотеках я читал научные книги в дешевых изданиях с идиотическими подчеркиваниями и замечаниями на полях. Я писал стихи и читал их соседям по комнатам, которые пили зеленое, как газовый свет, дешевое вино и пели фальшивыми голосами, но с нескрываемой болью, русские песни, слов которых они почти не помнили. После этого они рассказывали анекдоты и хохотали в папиросном тумане.

Я недавно приехал и только что расстался с семьей. Я сутился, и вся моя внешность носила выражение какой-то трансцендентальной униженности, которую я не мог сбросить с себя, как кожную болезнь.

Я странствовал по городу и по знакомым. Тотчас же рассказываясь в своем приходе, но оставаясь, я с унижительной вежливостью поддерживал бесконечные, вялые и скучные заграничные разговоры, прерываемые вздохами и чаепитием из плохо вымытой посуды.

– Почему они все перестали чистить зубы и ходить прямо, эти люди с пожелтевшими лицами? – смеялся Аполлон Безобразов над эмигрантами.

Волоча ноги, я ушел от родных; волоча мысли, я ушел от Бога, от достоинства и от свободы; волоча дни, я дожил до 24 лет.

В те годы платье на мне само собою мялось и оседало, пепел и крошки табаку покрывали его. Я редко мылся и любил спать, не раздеваясь. Я жил в сумерках. В сумерках я про-



сыпался на чужой перемятой кровати. Пил воду из стакана, пахнувшего мылом, и долго смотрел на улицу, затягиваясь окурком брошенной хозяином папиросы.

Потом я одевался, долго и сокрушенно рассматривая подошвы своих сапог, выворачивая воротничок наизнанку, и тщательно расчесывал пробор – особое кокетство нищих, пытающихся показать этим и другими жалкими жестами, что-де ничего-де не случилось.

Потом, крадучись, я выходил на улицу в тот необыкновенный час, когда огромная летняя заря еще горит, не сгорая, а фонари уже желтыми рядами, как некая огромная процессия, провожают умирающий день.

Но что, собственно, произошло в метафизическом плане оттого, что у миллиона человек отняли несколько венских диванов сомнительного стиля и картин Нидерландской школы малоизвестных авторов, несомненно, поддельных, а также перин и пирогов, от которых неудержимо клонит к тяжелому послеобеденному сну, похожему на смерть, от которого человек восстает совершенно опозоренный? «Разве не прелестны, – говорил Аполлон Безобразов, – и все эти помятые и выцветшие эмигрантские шляпы, которые, как грязно-серые и полуживые фетровые бабочки, сидят на плохо причесанных и полысевших головах. И робкие розовые отверстия, которые то появляются, то исчезают у края стоптанной туфли (Ахиллесова пята), и отсутствие перчаток, и нежная засаленность галстуков».

Разве Христос, если бы он родился в наши дни, разве не ходил бы он без перчаток, в стоптанных ботинках и с полумертвою шляпой на голове? Не ясно ли вам, что Христа, несомненно, во многие места не пускали бы, что он был бы лысоват и что под ногтями у него были бы черные каемки?

Но я не понимал всего этого тогда. Я смертельно боялся войти в магазин, даже если у меня было достаточно денег. Я жуликовато краснел, разговаривая с полицией. Я страдал решительно от всего, пока вдруг не переходил предел обнищания и с какой-то зловеще-христианской гордостью начал выставлять разорванные промокшие ботинки, которые чавкали при каждом шаге.

Но, особенно летом, мне уже чаще становилось все равно. Я ел хлеб прямо на улице, не стряхивая даже с себя крошек.

Я читал подобранные с пола газеты.

Я гордо выступал с широко расстегнутою, узкою и безволосою грудью и смотрел на проходящих отсутствующим и сонливым взглядом, похожим на превосходство.

Мое летнее счастье освобождалось от всякой надежды, но я постепенно начинал находить, что эта безнадежность сладка и гражданская смерть весьма обитаема и что в ней есть иногда некое горькое и прямо-таки античное величие.

Я начинал принимать античные позы, т. е. позы слабых и узкоплечих философов-стоиков, поразительные, вероятно, по своей откровенности благодаря особенностям римской одежды, не скрывающей телосложения.

«Стоики тоже плохо брились, – думал я, – только что мылись хорошо».

И раз я, правда, ночью, прямо с набережной, голый, купался в Сене.

Но все это мне тяжело давалось.

Душа моя искала чьего-то присутствия, которое окончательно освободит меня от стыда, от надежды и от страха, и душа нашла его.

Тогда начался некий зловещий нищий рай, приведший меня и еще нескольких к безумному страху потерять то подземное черное солнце, которое, как бесплодный Сэт, освещало его. Моя слабая душа искала защиты. Она искала скалы, в тени которой можно было бы оглядеться на пыльный, солнечный и безнадежный мир. И заснуть в тени ее в солнечной глуши, с безумной благодарностью к нагретому солнцем камню, который ничего и не знает о вашем существовании...

Именно такой человек появился, для которого прошлого не было, который презирал будущее и всегда стоял лицом к какому-то раскаленному солнцем пейзажу, где ничего не двигалось, все спало, все грезило, все видело себя во сне спящим.

Аполлон Безобразов был весь в настоящем. Оно было, как золотое колесо без верха и без низа, вращающееся впустую от совершенства мира, сверх программы и бесплатно, на котором стоял кто-то невидимый, восхищенный от мира своим ужасающим счастьем.

Все каменело в его присутствии, как будто он был Медузой.

Огромным, раскаленным, каменным пейзажем казался мир, одним из тех пейзажей Атласских гор, напоминающих ад, над которыми по воздуху проносился Симон-волхв. Но он не был жесток. Малейшие травы могли расти в его присутствии и птицы сидеть на его руках, настолько он отсутствовал. А он был где-то далеко-далеко, по ту сторону расветов и закатов, где и время и вечность, и день и ночь, Озирис и Сэт, и все живые и все умершие, и все грядущие, и все надежды, и все голоса присутствуют вместе и никогда не расстаются, и никогда не смолкают и откуда со слезами на глазах нисходят в жизнь.

Так иногда путешествуешь по городу, как по девственному лесу. Перейдя через сотню трамвайных линий, остановившись на множестве углов, я подошел к реке, отошел от нее и вновь возвратился к ней. Солнце заходило над сожженными им коричневыми деревьями набережной, над мягкими лиловыми асфальтами и над душами людей, доверху полными теплой и смутной, прекрасной и безнадежной усталостью городского леса. На оранжевой воде, на маленькой лодке у самой набережной неподвижно сидела человеческая фигурка, казавшаяся с этого моста совершенно маленькой. Не знаю, сколько времени я стоял на мосту, но каждый раз, когда я поворачивал глаза в ее сторону, фигурка продолжала

неподвижно сидеть, не поворачиваясь и не меняя позы, с беспечностью и настойчивостью, показавшимися мне сперва бесполезными, затем нелепыми и, наконец, прямо-таки вызывающими.

«Все рыбаки – мечтатели», – подумал я, но этот человек даже не был рыбаком и, следовательно, не имел никакого оправдания своей вызывающей неподвижности. Наконец, после, вероятно, целого часа терпеливого издевательства, мне вдруг захотелось спуститься вниз и заставить этого человека подняться или повернуться, или, наконец, просто показать ему взглядом, что он не имеет никакого права на такое поведение. Кроме права совершенно тупого или, наконец, просто спящего человека, или просто права нищих, которые иногда с поразительной физической выдержкой в невероятно неудобных позах костенеют на скамейках общественных садов. Наконец, потеряв всякое терпение, я спустился вниз, неловко, как заговорщик, шагая по крупным камням, подошел к плоскодонной лодке, в которой на железной цепи и на аршин от берега уже, вероятно, несколько часов уплывал, оставаясь на месте, загадочный человек. Сперва я с притворной скромностью прошел мимо него, но затем, видя, что он не обращает на меня никакого внимания, прямо-таки в отчаянии я остановился перед самой лодкой и уставился в его необыкновенно волевой профиль – смесь нежности и грубости, красоты и безобразия.

На первый взгляд, этот профиль имел почти комическое

выражение, но в нем было что-то, что совершенно отбивало всякую охоту смеяться даже заядлому шутнику. Было совершенно очевидно, что человек этот давно заметил меня. Он даже колебался одну минуту, не повернуть ли ему голову в мою сторону, но потом решился с очаровательным консерватизмом продолжать рассматривать пышно разметавшиеся по небу огненные волосы утопающего солнца. Его гладко выбритое лицо казалось выбитым из меди, и глаза имели то особое, но, скорее, женщинам свойственное выражение, которое появляется у светских людей, когда они отлично видят что-нибудь, но, еще лучше, не замечают. Наконец, я отступил два шага назад и с необыкновенной легкостью истерического припадка прыгнул в лодку. Этот странный поступок объясняется тем, что уже несколько минут вообще все было очень странно, все плыло по открытому морю необычайности, но необычайности как бы самодвижущейся, саморазвивающейся, необыкновенности снов и самых важных событий царства воспоминаний, тоже случившихся как бы сами собой, тоже несомых каким-то попутным ветром предопределения, рока и смерти.

Сидящий неподвижно слегка улыбнулся, как будто ждал этого, но продолжал сидеть, едва-едва скользнув по мне ничего не выражающим взглядом людей, охотно, но иронически приглашающих сесть. Теперь лицо его было отчетливо видно, все озаренное великолепным угасанием остывающего неба. Лицо это было так обыкновенно и, вместе с тем,

так странно, так банально и, вместе с тем, так замечательно, что я на очень долгое время как бы погрузился в него, хотя оно было непроницаемо, даже вдруг успокоившись от удивления. Я совершенно забыл необычайный способ моего появления в лодке.

Под умело сдвинутой набекрень серой фуражкой, как бы перелетевшей сюда из фокс-фильмы, изображающей жизнь подонков Нью-Йорка, ровно, твердо и даже добродушно смотрели небольшие широко расставленные голубые глаза, которые имели ту особенность, отчетливо осознанную мною значительно позже и чрезвычайно редко встречающуюся среди европейцев особенность, состоящую в том, что они ровно ничего не выражали. Поэтому-то я с первого раза приписал им добродушие, ибо приписывать им можно было решительно все. Не дай Бог вам, милый читатель, встретиться когда-нибудь с таким добродушием, ибо добродушие Аполлона Безобразова именно, может быть, и было самую страшную его особенностью.

Наконец, этот человек переменял свою удобную позу на другую, очевидно, еще более удобную, которую мне, вероятно, пришлось бы искать целый час, после чего я не усидел бы в ней больше пяти минут. Он облокотился на левый локоть и правой рукой вытащил пакет с желтыми папиросами и плоские спички. Потом закурил и выбросил спичку за борт, соблюдая при этом такую экономию в движениях и такую художественную простоту их, что я, в глубине души на-

чинавший робеть, в верхних слоях ее вновь изобразил сильнейший гнев.

Тогда Аполлон Безобразов отвел глаза от холодеющего неба и насмешливо посмотрел на меня. Глаза его отнюдь не были похожи на глаза гипнотизера, они не блестели ни загадочно, ни томно, они не темнели, а ровно поворачивались вместе с лицом не как живые существа, а, скорее, как толстые чечевицы красивых ацетиленовых ламп на башнях маяков. Но глаза эти отнюдь не были стеклянными, скорее, прозрачность их была чем-то замутнена, как это бывает у европейцев, долго живших под тропиками, или у курильщиков опиума; но эти глаза отнюдь не были сонными, они не спали и не бодрствовали. Это были обыкновенные глаза, совершенно ничего не выражавшие. Это были глаза совершенно особенные, которым я никогда не видел подобных.

Теперь Аполлон Безобразов смотрел на меня довольно долго, и, очевидно, это разглядывание имело свои фазы, постепенно отменявшие одна другую. Вероятно, образ мой проходил через тень и свет. Многие профессии и мирозерцания примеривались к нему и не прививались, потому что Аполлон Безобразов, никогда не ошибавшийся в людях, любил колебаться, любил одновременно утверждать и отрицать, любил долго сохранять противоречивые суждения о человеке, пока вдруг, подобно внезапному процессу кристаллизации, из темной лаборатории его души не выходило отчетливое и замкнутое суждение, содержащее в себе также и



момент доказательства, которое потом и оставалось за человеком неотторжимо, как проказа или след огнестрельной раны. В этом сказывалась какая-то особенная, чисто интеллектуальная мораль его или, вернее, чрезвычайно моральное отношение к своим мыслям, как будто они были живые существа, относительно которых он оставался совершенно пассивен, как бы не желая ничем форсировать их развития.

– Что вы скажете об Н.? – спросил я его однажды об одном человеке, который давно нам надоел и, наконец, умер и уже, несомненно, ничего не мог прибавить к комплексу воспоминаний, связанных с ним.

– Я ничего не могу сказать о нем, но жду, – ответил он, говоря о себе, как будто о реке или водопаде, по которому что-то должно было откуда-то проплыть.

Но обо всех этих превращениях моего для него бытия я догадался только значительно позже, когда заметил, что Аполлон Безобразов обращается со мной, как будто я и вправду был одновременно и дураком и умным, и слабым и сильным, и нежно интересующим его и далеким от него бесконечно. В тот же памятный день или, вернее, вечер это разглядыванье показалось мне совершенно бесполезным, как разглядыванье узоров на обоях, и потому оскорбительным, настолько взгляд Аполлона Безобразова был неизменен, прост и величественно банален, как взгляд Джиоконды или стеклянных глаз в витринах оптиков. Казалось, этим взглядом нельзя было извлечь решительно ничего из бытия,

хотя, в сущности, Аполлон Безобразов совершенно не слушал своих собеседников, а только догадывался о скрытом значении их слов по незаметным движениям их рук, ресниц, колен и ступней и, таким образом, безошибочно доходил до того, что, собственно, собеседник хотел сказать, или, вернее, того, что он хотел скрыть.

Но, в сущности, взгляд Аполлона Безобразова даже не был оскорбительным, он не настаивал давать нам права оскорбляться, он ровно скользил и пребывал одновременно, он покоился и был несмываем, как отблеск из окна. Потом Аполлон Безобразов вдруг медленно встал и жестом Ксеркса, приказывающего выпороть море, бросил наполовину выкуренную папиросу в воду, потом тем же красивым и экономным способом, которым он все делал, снял и опять надел фуражку на самые глаза и приготовился выпрыгнуть из лодки, но раздумал и, потянув ее за цепь, спокойно сошел с нее с несколько даже стариковским приседанием на одну ногу.

У Аполлона Безобразова были неширокие, но совершенно прямо поставленные плечи греческих юношей и необыкновенно узкие бедра, придававшие его фигуре вид египетского барельефа или американского матроса. Он был довольно хороший легкий атлет, и все его тело было как бы выточенным из желтоватого апельсинового дерева, хотя он вовсе не имел вида сильного человека.

Тогда я тоже неловко спрыгнул с лодки (почему-то вдруг

он сошел, а я прыгнул) и пошел за ним, твердо решив не отставать от этого человека ни на шаг, пока он со мной не подерется или не примет меня в свой круг, потому что вокруг него всегда присутствовал как бы невидимый, правильный, но непроницаемый круг, даже для тех, кого он держал в своих объятиях или ударял по лицу, хотя я заметил, что в разговоре с самыми простыми людьми – матросами, цирковыми акробатами или женщинами – этот круг вдруг исчезал, хотя, может быть, именно потому, что для них этот круг и не существовал, и он становился почти сердечным, ибо Аполлон Безобразов по мере сил и лени всегда старался скрыть свою профессию и образование и прямо-таки сердился и отстранялся от человека, который, долго просчитав его за приятного и недалекого человека, вдруг изменял о нем свое мнение, изучая для этого и художественно подражая мелким движениям очень простых людей, их способу надевать шляпу, здороваться и закуривать. «Ведь пришел же Христос инкогнито, – говорил он иногда, – и уж, наверно, не постыдно нам, простым смертным, защищаться от тех невежливых и безвкусно требовательных взглядов, которые мы кидаем на заведомо умного человека, в нашем присутствии не вмешивающегося в оживленный спор». И Аполлон Безобразов легко пошел вперед, но вдруг повернулся и, насупившись, вернулся обратно к лодке. В этой лодке мы просидели еще около часу, в который моя усталость, скука, чувство соперничества, желание уйти и остаться, желание осме-

ять Аполлона Безобразова и, наконец, почти броситься на него с кулаками дошли до такой степени, что этот момент по своей мучительной остроте незабываем для меня. Но Аполлону Безобразову, как видно, что-то нужно было додумать, дочувствовать, и он совершенно забыл обо мне, всецело погружившись в интеллигибельное созерцание воды и неба, которые непрестанно изменялись, зеленели и голубели, багровели и оставались теми же.

Вдоль набережной медленно, как траурные иллюминации под дождем, загорались зеленые газовые фонари. Там проплывали автомобили и шумели грузовики, и пыльные деревья раскачивались в такт визгливой и отдаленной музыке. Была ночь 14 июля, и где-то уже хлопали шутихи и визжали дети, а над рекой восходила луна, и, может быть, именно ее-то и ждал Аполлон Безобразов. Огромная, мутно-оранжевая, как солнце, наконец покоренное земным притяжением, как пьяное солнце, как лживое солнце, смотрела она своим единственным и еще теплым глазом без зрачка, своей гигантской тяжестью подавляя теплую железную крышу и дальние низкие острова. Потом она поднялась немного выше и просветлела и, как дрожащие руки проснувшегося от припадка, протянула к нам по воде белую линию отражения.

А тем временем с противоположной стороны тихо захлопали отдаленные выстрелы ракет, и низкорослыми кустами стала вырастать и падать, зажигаться и тухнуть фантастическая растительность фейерверков. Тихо поднимались они

над рекой, лопались и отцветали, оставляя за собой в воздухе серые сгоревшие двойники. Наконец, раздался последний взрыв, беспорядочный, как расставание человека со сном, и уже ясно стало слышно пение труб и скрипок, взвизгиванье кларнетов и частый, как похоронный звон, удар цимбал. Теперь небо было синим, вода черной, луна белой, а наши лица темно-серыми. Аполлон Безобразов вдруг взмахнул в воздухе руками, как будто выплывая из чего-то, затем это движение перешло в умелое потягивание приятно уставшего человека, и мы встали, спустились с лодки и поднялись на мост.

Так, подобно Дон Кихоту и Санчо Пансе, подобно Данте и Вергилию, подобно двум врагам, подобно двум приятелям, подобно двум банальным прохожим, шли мы по безлюдным улицам, по безлюдным площадям и бульварам, пока вдруг не попадали в толпу танцующих, толпу оголтелых и порозовевших, которые, разлетевшись в минуту прекращения музыки, с полуоткрытым ртом смотрели на нас, как бы ища подтверждения чему-то, предположим, тому, что сегодня праздник и все хорошо, и, не найдя его, тотчас же отворачивались прочь. По мере углубления в ночь музыканты становились все красней и веселей, будто бы толстели на глазах. Они пили пиво, отдуваясь и проливая его. Они надувались и продолжали играть с невероятным напряжением и такую же выносливостью. Казалось, лошадь заплакала бы от усталости и отошла бы, отмахиваясь, но они все продолжали играть, хотя казались уже готовыми умереть. Иногда происходила вой-

на между двумя оркестрами, старающимися переиграть друг друга: в одном были тромбон и саксофоны, в другом были однообразные старики, старавшиеся как можно больше шуметь; конечно, первые побеждали.

Скоро мы подошли к бульвару Сен-Мишель, поднялись по нему и, как два заговорщика, стали подходить к кварталу Монпарнас, где интернациональная богема, почти сплошь состоящая из людей, презирающих Францию, больше всех шумит и веселится в день 14 июля. Но Аполлон Безобразов и я давно привыкли к зрелищу и, найдя облитый пивом столик на самой окраине танцующих, уселись, как свои люди, смотреть на чужие танцы.

Тогда Аполлон Безобразов подозвал лакея, и лакей неожиданно повиновался, и заказал ему простого белого вина, которое неизменно и продолжал пить в течение всей этой короткой летней ночи.

Пил он очень много, не щурясь и не моргая, по-видимому, быстро пьянея. В одиннадцать часов ночи он казался совершенно пьяным, около часу, как будто бы, снова трезв, а в два часа даже глаза его порозовели от алкоголя, и он, стараясь попасть не в такт музыке, медленно махал в воздухе своей красной рукой и не замечал этого. Тогда, когда я счел его совершенно пьяным, я, чтобы осмеять его, неожиданно спросил:

– Сколько вам лет?

Тогда он вдруг моментально остановил свою руку, на что,

казалось, был совершенно неспособен, и совершенно отчетливо и равнодушно произнес:

– Столько же, сколько и вам.

Сказав это, он опять принялся махать рукой и опять не в такт музыке. Очевидно, ему было приятно махать именно не в такт, хотя это было очень трудно, потому что в поздний час этой душной ночи, казалось, даже дома и деревья размякали от музыки и от сладострастия и, как сплошной разноцветный студень, медленно вибрировали вместе с людьми в такт величественно-пошлой музыке оркестров.

Казалось, даже теплый асфальт подымался и опускался от ее прикосновения, и, очевидно, только один Аполлон Безобразов еще защищался от нее, но и он вдруг остановил руку, и встал, и на мягких, точно резиновых, ногах прошел между танцующими и затерялся во тьме. Через пять минут он вернулся с целой компанией, которая хлопала его по плечу, галдела и пела, – очевидно, со своей компанией, которую он в точности знал, где найти.

Меня тоже тотчас же стали хлопать по плечу и чуть ли не целовать пьяными губами, на которых прилипли коричневые крошки табаку.

Они все вместе стали петь грубо и очень весело, хотя песни были очень нежные и очень грустные. Потом Аполлон Безобразов заспорил с бледным семнадцатилетним юношей, носящим готовое платье, с неуместной и беспомощно-нежной улыбкой на полных губах, о том, кто из них перепрыгнет

через большее количество стульев. Они поставили по одному и по два стула посередине мостовой, и оба перепрыгнули препятствие, потом они поставили три стула, и Аполлон Безобразов перепрыгнул, а юноша этот в конце прыжка сел на землю и больно ударился, но не заметил этого, ибо был совершенно пьян.

Аполлон Безобразов с невероятной жестокостью пригласил его прыгать через четыре стула. Когда четыре стула были поставлены, кругом стали собираться, потому что, действительно, почти невозможно было пьяному человеку перепрыгнуть через эту длинную желтую изгородь.

Юноша разбежался и остановился, как бы очнувшись, и снова отошел, но Аполлон Безобразов не дал ему остановиться во второй раз. Он странно крикнул на него, и тот, как бы во сне, отделился от земли и упал в самую гущу желтого железа и разбитых стаканов. Аполлон Безобразов, совершенно не обращая на него внимания, снова поставил все стулья в один ряд и, улыбаясь, снял фуражку.

Я заметил, что он снимал фуражку только в редких случаях жизни и тогда становился прямо-таки опасным. Он отошел довольно далеко, потом еще дальше, потом еще раз еще дальше, что уже было прямо-таки глупо, разбег был слишком большой, теперь я видел, как приподымается его верхняя губа, обнажая ровные зубы, и вдруг – сорвался с места и побежал; разбег был, действительно, слишком большой, пробегая мимо меня, он, очевидно, заметил это и чуть за-



медлил, но до стульев оставалось пять шагов. Казалось, он остановится, но он издал какой-то странный звук, как будто ахнул, звук, полный, как мне показалось, невероятного злорадства и какого-то дикого торжества, и, прямо-таки пролетев последние три шага, прыгнул – и перепрыгнул препятствие, взметнув ноги к самой голове и задев только спинку четвертого стула, отчего упал на руки и буквально перелетел через голову, и, тотчас же очутившись на ногах, рассмеялся с таким откровенным удовольствием, что все мы невольно замолчали.

Теперь Аполлон Безобразов сидел совершенно неподвижно, хотя лицо его, как полная противоположность этому, было озарено и обезобразено отблеском того жесточайшего прилива воли, который он только что пережил.

Он сидел спокойно и, по-видимому, наслаждался, хотя на углах его губ еще запеклась кровь из разбитых десен, которую он далеко сплевывал на мостовую.

Таким образом кончилась моя первая попытка составить о нем определенное мнение и внести его в определенную категорию, например, одинокого философа, кончилась столь же прискорбно, как и многие последующие. Аполлон Безобразов, к которому я стал уже привыкать и даже смотреть тем собственническим оком, которым мы смотрим на все понятное, вдруг отодвинулся от меня в первозданный мрак, как это всегда потом случалось, когда я пытался успокоиться относительно него на определенной мысли – как будто сесть на

стул в его присутствии.

Личность Аполлона Безобразова никогда не позволяла садиться в его присутствии, она держала его собеседника в непрерывной и сладкой тревоге, которая вызывает в нас прекрасную идею чистой возможности. Для него не существовало внутреннего рока, которому подчинены души еще более, чем тела – року внешнему. Его вчерашние чувства ни к чему его не обязывали сегодня. И я часто, после некоторого отсутствия, почти не мог узнать его при встрече, даже походка его менялась, звук голоса. Долго знать Аполлона Безобразова означало присутствовать на столь же долгом, разнообразном и неизмеримо прекрасном театральном представлении, сидеть перед сценою, на которой беспрерывно меняется цвет облаков и реки каждую секунду текут вспять и по новому руслу; какие-то люди проходят, улыбаются, говорят красивые, странные и почти бессмысленные вещи; они встречаются, они расстаются и никогда не возвращаются обратно, ибо Аполлон Безобразов со всех сторон был окружен персонажами своих мечтаний, которых один за другим воплощал в самом себе, продолжая сам неизменно присутствовать как бы вне своей собственной души, вернее, не он присутствовал, а в нем присутствовал какой-то другой, и спящий, и грезящий, и шутя воплощавшийся в своих грезах, и этот другой держал меня в своей власти, хотя я часто бывал сильнее очередного его воплощенного двойника.

«Когда проснется спящий?» – думал я и ясно чувство-

вал, что никогда, что для него все мы имеем ровно такую же степень реальности, какую имеют те наши сны, которые мы, продолжая спать, все же именно осознаем снами, то есть наименьшую из нам доступных.

Он как будто всегда находился вне себя, и, часто даже поправляя себя, как завравшегося актера, он превращался в свою противоположность и в противоположность этой противоположности. Но эта новая противоположность не была его первоначальным «я», а каким-то новым, третьим состоянием, подобно окончательному возвращению духа самому себе перед самой смертью, но не в самого себя, ибо «я» человека тогда не объемлет, а объемлемо, не окружает со всех сторон, как атмосфера, а, наоборот, как бы окружено со всех сторон нашим бытием, как золотой остров, как остров в закате, как остров смерти.

Но постепенно необыкновенное возбуждение Аполлона Безобразова прекращалось, глаза остывали и превращались в то, чем они были обычно, и какая-то дикая воля заметно отливала от него, поза теряла свою напряженность, и он как бы повисал на стуле.

Минуту мне казалось, что он заснул, и он, действительно, спал одну минуту, причем его рука автоматическим движением подперла обычно легко им носимую голову, и на губах, как слепая змея, медленно поползла испуганная и отвратительная усмешка. Но через минуту он опять бодрствовал, пил светло-зеленое вино, похожее на густой туман, и ку-

рил папиросу за папиросой, окружая себя облаками голубого дыма, ибо Аполлон Безобразов не затягивался, а дым, выходящий из ноздрей незатягивающегося человека, – голубой, а у других – желтовато-серый.

Перейдя крайний предел опьянения, назначенный на эту ночь, я также стал постепенно отрезвляться, и окружающее нас многоцветное марево, в свою очередь окруженное маревом темным, расчленилось и распадалось на отдельных танцующих, на отдельные столики, засыпанные шелухой какоуэт, на отдельные лица, необыкновенно красные или необыкновенно бледные над смятыми и почерневшими за ночь воротничками.

Меня тошнило и клонило ко сну.

Наконец меня стало тошнить по-настоящему, и я ушел в lavabo.<sup>2</sup>

Наконец стало светать. Ровно засинел восток, и вдали над головами танцующих стали медленно гаснуть зеленые звезды фонарей.

Над Монпарнасским вокзалом взошла светлоперстая Венера, и небо порозовело, готовое проснуться. Изнутри и вовне тоже что-то просыпалось, смолкало и расцветало. Теперь лицо моего противника было почти прекрасно, в неверном свете утра голубые и фиолетовые отблески всходили на него.

Усталое и странно неподвижное, оно было совсем новым

---

<sup>2</sup> Туалет, умывальная комната (*фр.*).

и совсем не таким твердым, как этой ночью. Оно смягчилось, но как-то безотносительно, ни к чему. Оно осталось неживым. Это было лицо совсем чужого человека. Необычайно глубокий сон лежал на нем, бодрствующем, и переменчивый свет. Оно физически о чем-то мечтало, неуловимо и медленно кривясь, прищуриваясь и улыбаясь, хотя странный дух, живущий в нем, явно не участвовал в этом.

Но это было новое мечтание, не объясняющее и не объяснимое предыдущим. Все прошедшее не оставило на нем никаких следов. Казалось, фиолетовый дождь рассвета начисто смыл с него воспоминания ночи, и оно даже несколько удивленно и неподвижно смотрело прямо перед собой.

И вдруг физически ощутимо, как рвота, со дна горбом поднялась жесточайшая жалость к этому неподвижному. Я стал задыхаться, я склонился к столу и горько заплакал.

И вот расплывшееся и раздвоившееся изображение пода-ло голос. Он был сладок, весел и спокоен.

– Чего там плакать в хорошую погоду. Пойдемте-ка лучше спать. Смотрите, солнце взошло, все к чему-то готовится, самое время спать, выставив из-под одеяла огромную грязную ногу. А еще – мыться горячей водой, страшно приятно после бессонной ночи мыться горячей водой, молодеешь тогда, и совсем будто бодрое настроение, и вдруг засыпаешь каменным сном.

## Глава II

*Добро рождается из зла. Зло рождается из добра. И когда все это кончится?*

*Тао Тэ Кинг*

Может быть, день клонился к вечеру. Но в жаркой полутьме, где мы сидели полураздетыми и говорили, было по-прежнему тяжело. По-прежнему нас клонило ко сну, но не хотелось наружу, ибо снаружи было только одно сплошное теплое море дождя, в котором медленно и в неизвестном направлении плыли мы в глубоком трюме огромного черного дома. Только стол с неподвижной посудой был освещен; прямо над ним в глубине зеленоватой оконной шахты, как пароходный иллюминатор, белело толстое полупрозрачное стекло, по которому с утра мягко стучал тяжелый июльский дождь, то затихая по временам, то опять принимаясь с новой силой. Иногда белесо вспыхивала молния, тяжело перекатывалось отдаленное громыхание, и опять дождь падал, не переставая, среди тяжелых и душных сумерек нескончаемого дня.

Но, вероятно, он все же клонился к вечеру, этот бесконечно трогательный, тяжелый и серый летний день, когда мясистая зелень каштанов закрывает небо, когда все окна раскрыты и на мокрых улицах тяжело вращаются громоздкие коле-

са карусели, оглашая воздух паровозными свистками своих двигателей. Когда в тирах хлопают монте-кристо и потные солдаты пьют теплое желтое пиво и слушают под намокшими тентами, как тяжело и чуждо падает дождь на красивые рекламы писсуаров.

Вертикальная река света между нами уже давно сделалась голубоватой, а теперь синела и лиловела, в то время как мы погружались во мрак, как будто тонули, забытые в трюме океанского парохода. А молчаливый водопад сумерек все низвергался и низвергался, бесшумно разбиваясь о серое дерево стола, и было удивительно, сколько их еще могло поместиться в широкой и низкой комнате под крышей высокого старинного дома, в углу заставленной тележками уличных торговок узкой и театральной площади Политехнического училища.

В то время вокруг на бесчисленных колокольнях и старинных зданиях били часы, далеко до назначенного часа начинали бить и долго еще после него били, запаздывая и мечтая. Они даже среди дня были явственно слышны, а ночью это были целые разговоры и споры часов между собою, когда вдруг кто-то из них высоко-высоко и странно возглашал час, близкий к заре; на мгновение воцарялось молчание, и вдруг далеко-далеко и полные как бы всем разочарованием и усталостью мира, как будто из ада, отвечали им еле слышно и явно запоздалые хриплые звоны.

Среди бесконечных выступов и уклонов темной черепи-

цы, среди отвесов и маленьких, никому, кроме чердачных зрителей, не видимых, покрытых железом надстроек, где так чисто и длительно, так нежно и свободно падали и разбивались стеклянные розы дождя и медленно, едва двигаясь в воздухе, опускались таинственные бабочки снежинок.

Как хотелось мне всегда прилечь и заснуть на таком выступе, среди труб, желобков и кривизн, так далеко от земли, в таком покое и одиночестве и, вместе с тем, не в скалистых горах, а здесь, почти в центре огромного города.

Действительно, кажется, начинало темнеть, у потолка медленно накоплялись опаловые слои папиросного дыма, похожие надолгие размышления подростков, угасающих от туберкулеза в этих огромных саркофагах из гнилого дерева.

Но где-то там, по ту сторону стола и света, как мертвая Офелия, как маска Медузы с полузакрытыми глазами, еще плавало спокойное и нежное лицо Аполлона Безобразова. Он говорил, он уже давно говорил, и давно я то слушал его, то слушал лишь звук его слов, то слушал дождь, то слушал бой часов за дождем, то, кажется, спал, то просыпался к жизни и думал о том, который бы мог быть теперь час.

Потом мы оба молчали, быть может, часами, и тем временем еще глубже утонувшая комната погружалась в сумерки, и из еще большего отдаления возникал и вспыхивал голос, когда разговор возобновлялся под синевшим высоко-высоко над нами, как вход в железную могилу, ночным четырехугольником окна, ибо комната была уже доверху полна тем-



но-синюю звездную водою ночи.

– Древние смеялись над христианами, – говорил Аполлон Безобразов: – «Вы преувеличиваете жертву своей жизнью и любите театральные кровавые слезы. Посмотрите, как римские солдаты умирают». Конечно, Христос был еврей и книжник, но когда Эпиктетов хозяин завинтил его в специальный станок, чтобы насильно, посредством блоков, растянуть ему хрому ногу, философ, с некоторой даже заботой о его коммерческом благе, только сказал ему: «Смотри, сломаешь мне ногу!» А когда тот, действительно, разорвал ему последние связки, прибавил назидательно: «Видишь, вот и сломал». Что сделал Христос рядом с этим? Да если бы и гений погибал, зачем он нарушал благопристойность и плакал? Не была ли его смерть вообще неприличная человеческая сторона его жизни? Всякая неудача есть позор. О ней следует молчать, как о карточном проигрыше. Да и как вообще он мог заметить, что умирает; очевидно, он принадлежал к тем, для которых смерть есть смерть, ибо жизнь была жизнью, чем-то, чего он жаждал, а не сном во сне. Почему он не улыбался на кресте и не стыдился своей смерти, как отрыжки, например, как это делали римляне?

– Ну, допустим, что страдания Христовы ему ничего не стоили, ибо даже римский солдат страдал, улыбаясь, – соглашался я, – а страдание маленьких и слабых? Да и как вы вообще можете защищать совершенство мира? Подумайте! Разве вам не ясно, что даже если вы были бы творцом мира,

вы создали бы его много нежнее и счастливее, может быть, даже красивее, а его нечто, побольше человека, создавало!

– Да откуда вы знаете, – как будто возмущился вдруг Аполлон Безобразов, – что цель мира заключается в счастье людей или в красоте, да сами вы можете ли вынести зрелище чужого счастья и не предпочитаете ли ему явно возвышенную трагедию и благородную гибель? Разве не любите вы тайно самую трагедию мира? Если бы я создавал мир, я, вероятно, создал бы его еще более трагическим, я во много раз увеличил бы в нем количество боли, жестокости, болезней и всевозможных тягот. Разве сами вы не презираете загробную жизнь, ибо мысль о ней лишает ваши земные испытания всякой реальности и делает их корыстными. К сожалению, она существует. Но что-то не позволяет интенсифицировать муку мира и тем приблизить ее раскрытие, постигание его смысла. И это что-то есть жалость.

– Раскрытие какого смысла?

– Смысла любви, ибо это любовь породила мир. На глубине его она постигается именно в момент безвинной гибели и одиночества с безумною остротой. Здесь она понимает, что есть мировая причина и вина, принимает на себя все грехи мира, превращаясь в жалость; отрицает себя как утвердительницу жизни, ибо всякая жизнь – страдание; возвращается постепенно к исходному небытию. Там самосоздается основа мира. Утверждая себя, она порождает вечность боли и количества, свой крестный путь. Достигши же самосозна-

ния, возможного лишь через отпадение, лишение себя даже имени и, наконец, нахождение себя, она отвращается от себя, ищет отдыха, возносится на небо; жалея же мир, ищет угасить в нем дух, ибо дух – начало всякой муки. Тогда круг завершается. Лучшие, наиболее сухие души погибают в огне разума, как Фаэтон, вознамерившийся управлять колесницею Аполлона; более тяжелые души тонут в воде материальности. Природа слабеет с каждым днем, вещества распадаются, и снова прекрасная ночь покрывает все.

– Да, но чему служит постигание, если постигший умирает?

– А зачем это жить вечно? Понял себе, возрадовался, пожалел все, и вон из музыки, разве можно вечно слушать симфонию? Думается, наоборот даже, чем острее она, тем меньше времени ее можно вынести. Ибо за прекрасным до счастья таится прекрасное до боли, понять которое – погибнуть.

– Ну, а те, которые умерли, не поняв?

– Они могут простить Богу.

– Простить можно за себя, ну, а за других, не смогших даже простить?

– Мы и они одно: кто себя не жалеет, имеет право и других не жалеть.

– Но скажите, – пытался я защищаться или, вернее, защитить что-то дорогое мне и миру, – если бы нужно было вам выбрать между двумя мирами: миром, где все было бы свободным, миром, где все подчинялось бы человеку, где по же-

ланию все могло бы изменяться и возникать из ничего, и миром, в котором все было бы сковано, все навеки предопределено, все неизменно и детерминировано, необходимо. Какой бы вы выбрали? – с отчаяньем спрашивал я говорящий мрак перед собою. Короткая пауза, потом совершенно спокойно, но как бы из отдаления:

– Мир необходимый.

– Почему?!

– Так...

Какой-то странный звук, вроде горькой усмешки, и все.

– Аполлон Безобразов! – кричу я, не выдержав, наконец, этого. – Аполлон Безобразов, вы спите, что ли?

– Я? Нет, я не сплю, а может быть, и сплю, а что такое?

– Ну, а тогда зачем все?

– Не зачем, а почему все.

– Ну, хотя бы почему?

– Все спит сперва без сновидений, затем по железной необходимости просыпается, ибо забыло опыт прошлого и, любя, не может оставаться в себе, заворачивается в новый сон воображения. Там, вообразив сына своего свободным, теряет власть над ним, подчиняется его свободе, падает в свое отражение, преследуя себя, опускается все глубже в стихию воды, погибает в объективности и, умерши в своем сне, вновь начинает просыпаться. Сквозь все формы рвется на воздух, сквозь воздух видит свое средоточие в огне, постигает себя, удивляется себе, жалеет себя, отвергает себя, подни-

мается к огню, низводит страшный суд. И вновь все, безумно просияв, погасает и спит миллиарды лет.

Так вечно качается качалка Диониса, сознание и бытие, и то одна, то другая сторона превозмогает, так что мир периодически то тонет в воде, то гибнет в огне. Но вы еще не распрощались с бытием, хотя уже любовь, а не жажда удерживает вас в нем. Я же уже предался сознанию, и вам кажется, что я уже погиб, а мне кажется, что вы еще не жили. Вы еще плачете, значит, вы еще не доблестны. Я же доблестен по своему, но напряжен и строг к себе, это значит, что я еще не достиг непоколебимости, конечной бескачественности. Ибо мы очищаемся и побеждаем себя, чтобы мыслить. Но когда мышление раскрывается, оно распускается в нас само, оно мыслится, а не мы его мыслим; выясняется, что в разуме нет личной жизни, всякое «я» становится бесполезным, и поэтому мышление печально, смиренно, и страх мышления справедлив. Помните: «ценою жизни ты мне заплатишь за любовь»?

Молчание. Опять, и еще отдаленнее:

– Бытие родилось за счет смерти истинного бытия. Бытие есть воображение, принятое за реальность, посреди которого вообразивший родился сам, как герой своего сна. Однако во сне же он начинает подозревать, что он спит. Поняв это, он начинает пробуждаться от сна; пробудившись, исчезает, как тема сна, вместе с обстановкой и героем сна. Однако он не имеет места в бодрствовании, ибо он и сон, субъект и объ-

ект рождаются и умирают вместе, а трансцендентальное сознание субъекта невозможно. Однако оно есть истина. Все исчезает на ее пороге, и я стою на пороге. Однако оно есть храм, и я на пороге храма. Оглядываясь назад, я вижу бесконечно прекрасный, озаренный вечерним солнцем, прощающийся со мною мир. Поняв и исчезнув, я освобожу его от самого себя в себе и его от меня в нем.

– Этим летом как дивно глубоко небо. Вы же лучше живите среди ночи, бойтесь Аполлона, служите подземным богам. Любите жизнь божественно-конкретно, в ночи, в тайне. Ибо дерево познания есть смерть в огне. Так же, как дерево жизни есть смерть в воде. Но огонь только спит в воде. Погрузившись, он создает теплоту, красоту и Эрос, тогда как в себе он – холодная яркость, бесформенность и покой. Это я говорю вам, потому что я вас жалею, хотя жалость и ошибка, ибо она только увеличивает и обостряет чувство ценности жизни, своей и чужой. А вы должны учиться не ценить жизнь и легко умирать.

И вдруг мне показалось, что я смотрю в огромный телескоп и что в поле его окуляра, искусственно приближенный, уже очень далеко, абсолютно за пределами голоса быстро отдаляется металлический воздушный корабль старой конструкции, а на борту его, приветствуя фуражкой, стоит Аполлон Безобразов с совершенно красным лицом, и огромная надпись развевается за кормою: «Меланхолия».

И вдруг я снова просыпаюсь и спросонья почему-то спра-

шиваю:

– Ну, а искусство?

Молчание. Усмешка. Потом, как бы про себя или по телефону:

– Искусство меня не интересует.

Совершенно темно, даже страшно. Вдруг ослепительно ярко вспыхивает спичка, оставляя за собою зеленые круги в глазах. И снова слышно, как падает дождь, как где-то далеко звенят трамваи.

Меня знобит слегка, но мне уже не хочется ни встать, ни говорить. Наконец, я ощупью переползаю на кровать и скоро вижу уже сны.

Падаю в какие-то золотые колодцы, полные облаков, и долго, может быть, миллион лет лечу в них все ниже и ниже, в иные миры, к иным временам.

В детстве я часто засыпал посередине молитвы; как хорошо было бы мне тогда умереть посередине сна.

Холодное лето. Часы на камине. Бездонность мутного зеркала. Смеркается слава. Сонливость. Нечистая свежесть подушек. Усталость. Сон. Опять неподвижность. Больное сиянье постели. Истома.

За смеженными веками непрерывный танец золотых снежинок, точек, атомов, звезд. Куда опускаются звезды? С улыбкой смеркается слава. Лицо беззащитно темнеет, спус-

каясь куда-то средь звезд.

Смеркаться, сходить, обнажаться. Лишаться защиты и памяти. Черты распрямляются. Брови не так уже накрепко сжаты. Лицо. Ты можешь быть, наконец, прекрасным, ибо никто тебя больше не видит. Ибо ты уже не видишь себя, ибо скоро увидишь ты свой первый сон.

Ты спишь, Безобразов, смеркается слава твоего неподвижного взгляда. Но ты еще не покинул земли. Туманно и глухо к тебе долетают голоса собеседников. Но ты еще слышишь их. Хотя, может быть, ты видишь их во сне. Глубже холод подушек. Ярче мерцанье эфира, все ясно на миг засыпающим. Они от всего отделяются. Их сон уже совсем о другом. Тише, я как будто опять просыпаюсь. Я слышу соседние жизни. Кто эти люди?

Как параллельные нити, как проволоки из окна поезда, как ответные голоса в тумане. Почему они именно? Почему с ними на земле? Почему на земле? Так есть, так было все время. Может быть, уже было давно, и сейчас только сон о прошедшем. Параллельные рельсы. Долго-долго за снегом сверканье огней параллельных вагонов. И вдруг раздвоенные путей, поворот, красная точка, снег.

Где вы, любимые прежде? Молчание... Они никогда не услышат. Звездный снег за окном, заглушающий стук паровоза. Да и где это было, и было ли?

Где этот город, где описан он в сказках? Бесконечные темные улицы, дома, заслоняющие небо, полное неподвижных



звезд. И снова дождь. Где-то внизу горят фонари. Бледный человек, отодвинув занавеску, внимательно смотрит на часы в луче фонаря. Скоро ему уходить на работу.

Всю ночь внизу горит свет. Кто-то ворочается за стеною, скрипит кроватью, бредит. Кто-то встает впотьмах. Звенит струя, разбиваясь о дно ночной вазы, все более и более тихим звуком. Еще несколько капель. Все...

Где-то серовато белеет электрическая лампочка среди папиросного дыма, который медленно рассеивается. Там кто-то спит, не раздеваясь, ничком. Вдруг, забыв о боли и страхе, вдруг из хаоса мыслей взятый живым на небо.

Но еще глубже, на третьих дворах и шестых этажах, в низких комнатах без окон или с окнами без света, выходящими в глубокие шахты внутренних дворов, где внизу на проводочной сетке, защищающей мутные стекла, года и года мокнут и выцветают папиросные обертки, газеты и всяческая шелуха.

В глубине, за темными занавесками и туберкулезными ширмами, среди баулов, вешалок, лесенок, грязных кухонь, серых ватер-клозетов без стульчаков, в запахе кала, среди моли, пауков, клопов, мух, мокриц, стрептококков и гонококков, спирохетов, спирилий, коховских палочек и таинственных, невидимых даже в сильнейшие микроскопы возбудителей рака, трахомы, сонной болезни и столбняка.

В саване пыли и сырости в конце десятков задних лестниц, нереально освещенных бледно-зеленым, больным и

неподвижным светом газовых горелок и тусклых, пыльно-желтых электрических лампочек низкого напряжения, там, в глубине проходов, коридоров, двориков, уборных и чуланов погасла античная слава неподвижного взгляда Аполлона Безобразова, и он спит, позабыв свое имя и перестав быть. В то время как на десяток верст вокруг высоко над землей в толще больного воздуха еще читают или мечтают в темноте, плачут и кашляют, совокупаются и испражняются, делают себе промывание и впрыскивание, слушают дождь, просыпаются и ворочаются или бесконечно долго, как иноки в подземелье, разговаривают и ссорятся в кроватях, вспоминая обиды, несдержанные обещания, потерянные и растроченные годы, а также длительно высчитывая мелкие суммы, упрекая и насмехаясь, чтобы, наконец, вдруг помирившись, ласкать невымытые члены, раскрываться, погружаться в живое тепло, мерно двигаться в истоме среди сотен животных запахов, скользя и поворачиваясь, натруждая колени, отдавливая руки и ноги. Глубокое ночное утешенье, теплое забвенье, отпадение, наконец, и глубокий сон, во время которого на изможденные лица восходит глубокий нищий покой средневековых святых.

А грязное платье на стуле, смятое и брошенное, пиджак с пропотелыми подмышками и жалкие брюки со свежими следами уличной грязи, и женские, потемневшие от пота, пояса для поддерживанья чулок, — все это, покинутое на стуле, похоже на неподвижно сидящего человека, фигура которо-

го постепенно, через многие степени и оттенки, появляется в холодном свечении рассвета, как будто медленно выплывающая из глубокой воды. И уже скоро где-то чуть слышно застучит будильник, и в предрассветной тишине жалко и тонко голос подаст младенец, ворочаясь в своих мокрых пеленках, и вдруг отчетливо и торопливо застучат далеко внизу стоптанные каблуки, на которых, ежась от утреннего холода, быстро уходят на работу на фабрику обожженные холодной водой, ошеломленные отсутствием сна, больные, бодрящиеся, ежедневные и равнодушные зрители розового возникновения, алого полыхания, желтого свечения и, наконец, белого исчезновения холодного летнего рассвета, быстро сменяющегося мертвым белесым сиянием дождливого дня.

Трамваи, трамваи, трамваи. Все переполненные, звенящие на пустых улицах. Газ потухает. Грузовые автомобили тяжело катятся к центральному рынку. Белый сумрак. Европа. Зимой те, кто спали, прикорнувшись в подъездах и на ступеньках метро, у самой железной решетки, откуда дышит теплый вонючий воздух подземелья, почерневшие и перекошенные, как-то боком входят в первые кафе или спускаются, наконец, в подземную дорогу, где долго они будут, качая головами, задремав в тепле, кружиться под землю, но и им завидуют спешащие на фабрики; даже они кажутся более счастливыми, вернувшись к правде. Наконец, долгое время спустя, начинается утро служащих и школьников, и владельцев маленьких магазинов и еще, много времени спустя,

утро хорошо одетых, лысеющих, считающих, пишущих, богохульствующих, одетых в фильдекосовые носки, рубашки из искусственного шелка, ботинки американского фасона, костюмы английской кройки и добродетельные мысли ужаасающих, смердящих, калообразных, полных червями, источающих гной спокойных, важных разговоров среди современной мебели из симили дуба, мельхиоров с безалкогольным кофеем, безалкогольным вином и солью, потерявшею соленость; убийцы Христа, язвы и плесень Апокалипсиса. Утро людей, имеющих деньги. Людей, считающих себя правыми.

И наконец, уже позже всех, последнее из утр – посреди грохота, суматохи, яркости и неизмеримо далеко от пустоты, чистоты мусорщиков и перевернутых стульев в кофейнях, среди сбитости с толку, ошеломленности, одышки, геморроидального зуда и поминутно извлекаемых членов и часов. В разгромленных комнатах за спущенными шторами кончается последний тяжелейший, бессмысленнейший сон, в котором фигурируют уже и грохот улицы, и пiski автомобилей, и смятые простыни, и отлеженные руки. Раскрываются медленно глаза уязвленных светом, ошеломленных головною болью, изжогой во рту, усталостью и болью в половых органах, души тех, кто вчера до утра хохотали, острили, кричали, пили фальсифицированные напитки, бессвязно спорили, развратно целовались и длительно и изможденно совокуплялись с кем-то, зачем-то, где-то. И долго будут они с сожалением вычесывать волосы нечистым гребнем, пить воду

с женой магнизией, затем чесать промежности, зевать, читать газеты, пить холодное отельное кофе и, может быть, за-  
прокинувшись, спать до самого вечера.

Но где был Аполлон Безобразов все это время, когда он лежал, завернувшись, как мумия, страшно скорчившись или до странности вытянувшись в позе каменных фигур на древних усыпальницах? Он сам не знал ничего об этом. Его глубокие сны, похожие на обмороки, повергали его часто по возвращении в тяжелую оторопь. Он как бы с трудом припоминал, где он, и не совсем узнавал окружающее. Казалось, что ему наново нужно будет учиться ходить. То огромное, страшное, золотое, то необъяснимое смертному еще ощущал он, как Товий по исчезновении ангела. Все казалось ему иным. Звуки улицы долетали трагически ясно, звали, и кричали, и повторялись за окном. Все казалось ему неведомым и многозначительным. Все удивляло и страшило его столь далеко за ночь отлетевшую душу. Но что, собственно, надо делать? Да вставать, рассекать воздух, поглощать свет, весить. Но, может быть, сегодня с утра начать называться по-другому, не узнавать никого, отпустить бороду, забыть русский язык? Может быть, читать целый день? Но в книгах написано или то, что он уже знает, или то, с чем он не согласен. Пойти днем в кинематограф, напиться с утра пьяным?

Но вот кончился первый переполох пробужденья. Аполлон Безобразов снова в тысячный раз принял нелепую жизнь. Он еще не двинулся с места, но уже черты его лица

распрямились, разгладились. «Необходимость или Провидение, кто Ты, не знаю, необоримое или благое, дай мне, что пожелаешь, отними, что пожелаешь, – вспоминает он, перевирая, двухтысячелетние слова. – Да не греческого развратного и дивного, нет, чего-то римского нам не хватает, чтобы доблестнее жить, ежедневно мыться холодной водой, великодушно прощать судьбе».

И вдруг разом Аполлон Безобразов опять овладел положением, теперь он спокойно встанет, выстирает себе рубашку. Сделает гимнастику и даже сядет читать Аристотеля где-нибудь в городском саду среди отпускных солдат и детей.

## Глава III

*Эта любовь к разнообразию и была причиной смерти Адама и всех его потомков*  
*Зоар*

В те дни настроение мое всегда менялось в зависимости от погоды, как будто от солнца питалась слабая моя душа и вместе с солнцем помрачалась.

В сумеречную погоду в комнате Безобразова день не наступал вовсе; только какое-то бледное свечение появлялось, как будто сквозь глубокую воду доходило оно. А когда на подвижное стекло снег налетал сплошным слоем, в комнате воцарялась ночь. Изредка кто-нибудь из нас поднимался на стул, поставленный на стол, и, подкидывая стекло, освобождал его от снега, на мгновение оглядываясь вокруг, как капитан вынырнувшей подводной лодки. Вокруг, насколько хватало глаз, как белые волны геометрической формы, расстилались выступы, карнизы и отвесы узких и высоких средневековых домов, и вновь лодка опускалась под воду, и было тихо в ней в снежный час.

Иногда Аполлон Безобразов зажигал свечу, ибо величественный хозяин до пяти часов не давал электричества, хотя уже в половине четвертого было совершенно темно. При свече, отбрасывая огромную тень, Аполлон Безобразов читал

«Подражание Христу», книгу, в которой он ровно ничего не понимал, тогда как короткого положения «Этики» Спинозы, почерпнутого из дешевой истории философии, ему было достаточно, чтобы до конца овладеть учением, которое ему так легко было самому развить и додумать.

Просыпаясь туманным утром, я долго думал о его жизни, и Аполлон Безобразов, почему-то всегда угадывая мое пробуждение, хотя я не шевелился, предлагал мне идти за молоком и любил разрешать возникающий спор карточной игрой, ибо считал, что жребий есть единственное прямое участие Бога в жизни человека и народов; греки были религиозной нацией лишь до тех пор, пока выбором чиновников и решений руководили жребий и оракул. После чего указанный Провидением спускался в сырой колодезь лестницы и, возвращаясь, заставал товарища своего спящим на разбросанных картах, а на полу догорающую спиртовку с наполовину уже распявшимся, выкипевшим чайником, ибо сон мы считали несомненно важнейшим из наших времяпровождений. Случалось, что долгими дождливыми днями Аполлон Безобразов вообще не вставал с кровати, и я отправлялся гулять один в тотчас же промокавших башмаках, дыры на подметках коих я, по совету Безобразова, изнутри закладывал отрезанными хлястиками. Долго я так ходил с каким-то мрачным воодушевлением, подставляя лицо под холодные брызги, все дальше и дальше во тьму незнакомых улиц правого берега, чтобы, наконец, сдаться, сломиться, и, как будто от-



носимый возвратным течением, как лодка, лишенная управления, медленно возвращался домой, все ниже нагибаясь и уходя в воротник тогда, когда сквозь желтые волны тумана уже загорались газовые фонари, распространяя вокруг себя неяркое сияние, сквозь которое легкими пеленами медленно и неустанно спускались мельчайшие капли дождя. Возвращаясь, я, не снимая пальто и шляпы, часто ничком ложился на кровать и засыпал, чтобы, вдруг проснувшись глубокой ночью от страшного сна, дико озираться вокруг налитой кровью головою. «Безобразов!» – возглашал я в темноте и долго, может быть, нарочно, не получал ответа.

Летом в нашем низком широком гробу под самую крышей, изнемогая от жары, мы спали совершенно голыми, причем, голый же, я ночью со свечою, стоя на кровати, в каком-то остервенении ловил клопов; Безобразов же стоически предоставлял себя им на съедение, и раз я даже видел, как клоп полз по его лицу и он, страдальчески улыбаясь, подобно христианскому святому, нарочно не сбрасывал его, а только плотно закрывал глаза. Впрочем, в жаркие ночи мы часто спали в Венсенском лесу или на укреплениях города, подкопав по-бойскаутски, ибо Безобразов в детстве был бойскаутом, небольшое углубление под свой правый бок. Все это было позже, но помню зато, с каким особым счастьем проснулся я июльским утром в комнате Безобразова. Ровно и ослепительно-радостно с потолка в комнату падал широкий солнечный луч, от красного плиточного пола розо-

вым сияньем отражаясь вокруг. Вернее, огненный столб стоял посередине комнаты, плотный и нематериальный, весь полный радостно танцующей пылью. Вскоре голый Аполлон Безобразов уже принимал в нем солнечный душ. А из поднятого люка окна, радостно фальшивя, бодро влетал и визжал, повторяясь, нестройный звук фанфары какого-то малочисленного гимнастического общества, проходившего по улице. Какое счастье было мыться в такое утро, вытираться докрасна и без носков, надевши теннисные туфли, без пиджаков, в высоко засученных голубых рубашках очутиться на улице.

В этот час улица была ярка, чиста и празднично пуста, ярко лоснилась черно-фиолетовая торцовая мостовая, движения не было почти никакого, и только у тележек толстые веселые женщины, покрикивая, распродавали остатную мокрую дешевую клубнику. На узкой площади Политехнического училища, куда не всюду за домами доходило солнце, все было ярко и немного театрально освещено отраженным светом. Небо было синее, и на него, прищуриваясь, любовались из своих подворотен или прямо с тротуара толстые чистые люди с багровыми шеями и широко расставленными ногами в мягких туфлях, а около них тоже любовались неведомо чем низкие толстые собаки неопределенной породы, необычайно широкие и добродушные.

В летний день, когда дивно ярок воздух, когда все освещено, все согрето, все зелено, все пыльно, все ведет куда-то и за каждым поворотом снится загородная дорога, какую ще-

мящей жаждой тепла и движения наполняется поутру душа бреющегося у неудобного зеркала. Вот бы только добрить шею, надеть новую синюю рубашку и, разбрасывая все как попало, вырваться, наконец, к свету и, конечно, к счастью, расправив узкую грудь, зачесав редкие волосы. Так отпускные солдаты весело перекликаются, занятые спешным одеванием, шутя и балагуря, высоко через голову надевая гимнастерки, или, пыжась и слегка высунув язык в угол рта, придают последний загадочный блеск армейскому своему сапогу. И вот уже ровно, волосок к волоску, зачесан льняной пробор, и складки рубахи собраны с изумительным, прямо-таки растительным совершенством; еще один озабоченный взгляд в зеркало при воротах казармы, краткая явка фельдфебелю и, наконец, солнечная улица и золотой парикмахерский таз над бульваром.

Но не слишком ли радостно ты собирался, защитник отечества, и за долгий день не разберет ли тебя глухая пивная тощица – ах!

Дело было к вечеру.  
Делать было нечего;  
Чистили картошку,  
Вдарили Антошку.

– Не спешите, – говорил Безобразов, – в солнечный день вырваться к шуму с грязною брагой ожидания в сердце, ибо, за нескончаемый день ничего не найдя и устав в пыли, кто

защитит вас под раскаленным небом?

Да, Аполлон Безобразов в совершенстве умел гулять, добродушно и равнодушно, неутомимо и неутомительно, бесцельно, но и с величайшей пользой, без тени зависти и ничего не осуждая, но и ничего не жалея, и это он научил меня этому исканию глубочайшего покоя и равновесия в походке, подобно шествованию иероглифических фигур, и хотя оно в совершенстве никогда мне не удавалось, все же иногда оно давало мне забвение зависти и жалости и то глубокое принятие всех вещей, которое может быть только у египетских колоссов. Так шел он, низко надвинув легкую фуражку, которой он, как моноклем, заслонял свой тяжелый взор, выставив грудь и загибая при ходьбе ступни вовнутрь, и многие провожали его глазами с безотчетным уважением, ибо он с одинаковым выражением неподвижного добродушия смотрел на лица и на спины, впрочем, больше любуясь нагретыми чудесами малярного искусства или сияющей на солнце покатой цинковой крышей, а еще – дирижаблями. Долго-долго, до боли в шее он следил за ними, прищурившись, с бульвара, и сказочное их шествие в синеве напоминало ему какие-то драгоценные и редко вспоминаемые ощущения снов.

Вдали колокол медленно и хриповато сотрясал воздух, и, видимо, приятно было слушать его сидящим с широко расставленными ногами, хотя, вероятно, никто из них не посещал церкви. И вдруг стремительно, как большие красные и зеленые стрижи, через площадь пронеслись велосипеди-

сты, краснощекие подростки на неудобных гоночных машинах, купленных на долгосрочную выплату.

Наслаждаясь красотой тепло окрашенных поверхностей ставен и стен, этих шедевров малярного искусства, изображающих невиданные каррарские мраморы или редкостные разрезы заокеанского дерева, которым солнце, слегка обесцвечивая и смывая краски, придавало монументальную условную прелесть. Всем этим точкам, полосам, слоям и завиткам воображаемой древесины или порфира, над которыми со средневековой тщательностью трудилась рука современного маляра, в то время как голова его, далеко откинута и слегка склоненная набок, прищуренно созерцала труд свой и вдруг, низко наклоняясь над ним, помогала своими движениями выписывать особенно трудные разводы. Мимо вычищенной меди и темно-зеленых пальм, только что вымытых и лоснящихся в деревянных своих ящиках, мимо красивых стандартизованных плакатов из жести с надписью «Basse»<sup>3</sup> или «Defense d'afficher»<sup>4</sup>, мимо «Defense d'uriner»<sup>5</sup>, мимо «Docteur spécialiste»<sup>6</sup>, 914 Boulevard Sebastopol<sup>7</sup>, мимо искусственных ручьев непитьевой воды, которая с бодрым шипеньем вырывалась из специальных, вровень улицы вделан-

---

<sup>3</sup> «Пиво» (фр.).

<sup>4</sup> «Не расклеивать» (фр.).

<sup>5</sup> «Мочиться запрещается» (фр.).

<sup>6</sup> «Врач-специалист» (фр.).

<sup>7</sup> Севастопольский бульвар, дом 914 (фр.).

ных отверстий и предназначалась для мытья водостоков; постоянно – иллюзия искусства – создавала впечатление только что прошедшей грозы под уже синим небом, где медленно и высоко, осеняя мансарды и самодельную мачту для радио, двигалось белое кучевое облако как колоссальный белый воздушный шар.

Из зеленых машин округлым шипящим веером вылетала, пенясь, вода, и уже у самых ваших ног, казалось, вот уже готовая окатить, вдруг сокращалась до незаметной струнки, чтобы вновь, миновав вас, с шумом развернуться, в то время как атлетический водовоз, самодовольно улыбаясь и, как фокусник или скрипач, изучив управление двойною своею струею, как настоящий художник в тысячный раз повторяет все тот же гидравлический маневр и не утомляется им.

Иные улицы были уставлены полосатыми балаганами, где продавались всякие ненужные вещи по баснословно низким ценам, ярко окрашенные и стандартизированного производства. Мороженщики предлагали свои обольщения, которые в глубине цинковых цилиндров являли самые неожиданные и явно химические цвета. Кремовые и зеленые трамваи перегораживали улицу, киоски демонстрировали красоту ног изумительную, ног фотографических (иные даже были удостоены трехцветной печати), во много рядов развешанных на проволоках по страницам порнографических журналов с целью возбуждения запретных ощущений, а также в целях коммерческих и декоративных. Широкие плакаты реяли над

улицей, и красовались трехцветные флаги, которые вдруг в одну ночь вырастают на углах, на временных белых мачтах, над объявлениями об осенних или автомобильных салонах.

Народ теснился среди досчатых палаток, где высокие колеса рулеток с ритмическим треском вращались, то опуская, то поднимая красивые свои цифры, особенно два и восемь, и обещая счастливым пиленый сахар в коробках, иные даже до пяти килограммов.

И вдруг улица опять опустела, и опять исчезли бесчисленные жирные зады женщин, нарочно колеблемые при ходьбе, а также руки, носы, подмышечные части, напудренные и блестящие кожные покровы, груди различных величин и крепости, брюки и бесчисленные щеголеватые ботинки самых невероятных цветов, включая ярко-синий, которые заключали в себе тайны равного количества носков, более изношенных или рваных, хорошо заштопанных, самодельно стянутых грубой ниткой, подвернутых на пальцах, фильдекосовых, демикотоновых, полупелюшковых, полуперстяных и отсутствующих. Брюки, заключающие в себе тайны кальсонов, покрытых подозрительными пятнами, груди-тайны не вполне зарубцевавшихся легочных процессов, сердца-тайны денежных мук, мистических чаяний и ночных эротических бдений.

Мимо аляповато и небрежно шумящих фонтанов, мимо подростков и газетчика, мимо величественных низких зданий обсерватории, мимо памятника Нею, на зеленой шпалке

которого, высоко задранной, размышлял голубь, мимо колымажистых красных двухцилиндровых taxis de la Marne, ныне уже вовсе исчезнувших, мимо множества знакомых и милых, ярких и поблекших вещей, единственного зрелища и судилища, предпочтительного всем музеям и Акрополю, безрадостной улицей подошли мы, наконец, к Монпарнасу, и еще раз не смог я сдержать в себе того знакомого подлого, болезненно-радостного оживления, когда-то – ожидания какого-то неведомого счастья среди пестрой и грубой толпы, чаянья, столько раз обманутого, но все вновь и вновь вырастающего на глубоком и живом корне надежды на низменную радость.

По обеим сторонам широкого бульвара далеко на тротуар выехали и раскинулись плетеные и железные стулья «Ротонды» и «Дома». Когда-то, когда я появился здесь, я вообще не мог понять, как можно уходить отсюда, отставляя стулья и отряхивая пепел с пальто; мне казалось, что нужно вечно сидеть и говорить только о самом главном долгие ночи и, наконец, договориться, понять все тайны и задачи; и так, больше всего ненавидя тех, кто ранее всего разбивали очарование и порывались уходить, я ждал, и армянские анекдоты, еврейские, солдатские, генеральские, советские и марсельские, слой за слоем, бремя за бременем, как сажа, копоть, шелуха и нечистоты, накоплялись на моей душе, помрачая свет и наводя тяжелое дымное остервененье.

Под широким желтым балдахином и прямо на солнце,



развалясь, картавя и поправляя промежности, сидело местное общество. Мужчины острили и терзали земляные орехи, осыпанные их шелухой. Женщины грели на солнце широкие жирные плечи, а под низкими краями белых соломенных шляп глаза их казались животнo-сонными и светлыми. Здесь их было целое население, полдня проводившее в подробном и медленном омовении и раскрашивании своей кожи и в долгом самодовольном одевании, и, наконец, как пахучие эротические объекты, появлялись они на пороге кафе du Dome<sup>8</sup>, обязательно заказывая большую белую чашку кофе и округлым жестом положив на мрамор коробку американских папирос, чтобы застыть так в прекрасном развратном оцепенении, надменно щуря припухшие накрашенные веки, посылая многозначительные взгляды, принимая чужие пристальные, легким биением ресниц отталкивая недостойные, достаивая просительные.

И так часы и часы, как бы на пляже, наблюдают дивные и бессмысленные очи безостановочное шествие любопытных, самодовольные позы богатых иностранцев и жалкие жесты нищей художественной братии, которая, за неимением денег, жестикулирует, сидя на фатидической скамейке перед кафе на виду всех, всех пытаясь презирать, всеми презираемая и достойная презрения, ибо жестоко и низко презирающая друг друга.

Там и я не раз сиживал в тщетной надежде на «пару фран-

---

<sup>8</sup> Дю Дом (*фр.*).

ков» или пару ботинок, в то время как под притворным равнодушием сердце мое доверху наполнялось неизъяснимым, непередаваемым отвращением к какому-нибудь особенно ненавистному аргентинскому юноше, который с животным аристократизмом улыбался, слушая тарабарщину.

Русские, женственно-чувствительные, вообще не умели стоически-величественно носить свою бедность, они всегда подражали кому-то одеждой – то каким-то бедным американцам, то художественному беспорядку, они тенденциозными голосами окликали друг друга, в поисках угощения кочевали между столами, разнообразно фальшивя, молчаливее и достойнее других были редкие довоенные эмигранты, двадцать лет сидящие здесь, про которых говорили, что когда земля начала освобождаться от потопа и выросла первая пальма, около нее появился столик и за ним – они; видимо, они еще помнили какую-то совершенно другую Европу.

Аполлон Безобразов, равнодушный к русским, охотно отводил от них глаза, иногда как бы запачкавшись, хотя он говорил, что так как мир сделан из единственного материала и подчинен единому закону, отбрасывать малейшую его подробность равносильно ненависти к целому, которое он с неистощимым добродушием разглядывал их и забывал, друг его или насмешник, но менее всего судья и обвинитель; этим он успокаивал меня, и я, забывая свое мучительное добро и зло, погружался в стихию зрения, подолгу любуясь какой-нибудь здоровой раскрашенной женщиною, которая, в совер-

шенстве овладев этим, то поднимала, то опускала тяжелые веки, окаймленные неестественными ресницами, как будто в них пульсировала какая-то таинственная и от нее не зависящая жизнь.

Абсолютно беспиритуальная красота таких женщин была много загадочнее красоты одухотворенной, что-то апокалипсическое было в них, несомненно ни о чем не думающих, все решивших, все позволивших себе, какая-то откровенная и до абсурда доведенная роскошь земной жизни; все они верили в какие-то простые низменные вещи – в совокупление, в спорт, в деньги, в карточную игру, – и эта узкая, но твердая вера освещала их лица своеобразным спокойным титанизмом.

Все это двигалось, менялось, ело и смеялось перед застывшими одеревенелыми лицами местных проституток, неестественно набеленными. Они знали тут всех, и вне своих профессиональных обязанностей они держали себя сухо и сдержанно, даже бодро, разговаривали только между собою и ни в какие психологические излияния не вступали. Они, гарсоны и шоферы, были единственные здесь работающие среди праздных, они презирали здесь всех и чувствовали себя неизмеримо выше остальных.

Внутри кафе казалось темным – рядом с ослепительной пестротой веранды. Многочисленные зеркала, в которых иногда появлялась резкая солнечная полоса, казались зеленоватыми, и все пустое кафе – подводным бутафорским

гротом. Из него мы любовались и, наскучившись зрелищем, вставали, наконец, и, зайдя в молочную лавку, отбывали обедать и ужинать на Монпарнасское кладбище.

Там, среди нагретых солнцем могильников, среди тщеславных барельефов и смиренных решеток, мы на скамье ели руками творог, пили сырые яйца сквозь маленькое отверстие и холодное кисловатое молоко, затем мылись под краном, предназначенным для поливания кладбищенской флоры, и Аполлон Безобразов ложился отдыхать, высоко выставив коленку. «Пойдемте», – говорил я ему. «Погодите, нас сейчас отсюда выбросят». Действительно, вскоре в сопровождении молчаливого инвалида в зеленой форме и жестикулирующей черной старушки мы покинули кладбище и в душном закатном освещении отступили в сторону Gobelins<sup>9</sup> с кинематографическими намерениями.

Огромное солнце заходило, в облаке пыли мчались грузовики мимо высокой тюремной стены, все было тихо, истомлено жарой и театрально-торжественно освещено. Дети играли на тротуарах, скача и достигая заповедного квадрата с надписью «небо». Остальные назывались «понедельник», «вторник», «среда» и «четверг»; «небо» выпадало на воскресенье. Сидя перед своими магазинами, негромко переговаривался мелочный торговый люд.

У входа в кинематограф желто в дневном свете горели электрические лампы, скорее затемняя, чем освещающая дере-

---

<sup>9</sup> Авеню Гобелен (*фр.*).

вянные щиты с фотографиями и стены за ними, оклеенные особой бумагой, изображающей яркую кирпичную кладку.

Сосчитав деньги, мы задолго до начала представления устроились в одном из первых рядов из экономии, а также потому, что Аполлон Безобразов любил сидеть прямо перед огромным экраном и не видеть ничего иного. Задрали ноги на железную скобу ряда предыдущего и только иногда опускали одну из них, чтобы глухо топтать ею в пустоте. Наконец, редкие лампочки вспыхнули ярче, и по краткому звонку несложный оркестр нестройно, но бегло заиграл что-то довоенное, и вот уже белый-белый, молочный магический луч, пронесшись над нашей головой и вдруг окрасившись теплою желтизною, озарил высокий четырехугольник. Но, видимо, машина действовала неисправно, и восьмая серия «Зеленого стрелка», то удваиваясь, то делясь на отдельные статические изображения, прыгала перед глазами; тогда немногочисленный вопль раздавался в зале, вновь в голубой пелене папиросного дыма загорались лампы и было видно, что кинематограф был почти абсолютно пуст. Редко, подальше друг от друга, сидели потревоженные светом всклокоченные любовные пары, впереди – черноватый, необычайно волосатый молодой человек, видимо, неудачник, а направо, немного поодаль, молодая женщина в короткой юбке и дорогих чулках, непрерывно курившая и кривившаяся заплаканным лицом.

– Клуб самоубийц какой-то, – сказал Безобразов.

Но вот за невразумительным восьмым эпизодом, сразу

введшим нас в темп кинематографической действительности, зеленоватой, но испещренной выстрелами, тогда еще бесшумными, чисто световыми, и по окончании фантастической, комической части, где все действие было в противоречии законам физики и вероятности, приведшей Аполлона Безобразова в буйное веселье, – причем, слушая его адский откровенный хохот, я подумал, что он может когда-нибудь незаметно для других сойти с ума, – на сцену, деревянно улыбаясь, вышел толстый молодой человек, раскрашенный как манекен, сходство с коим еще усугублял его дешевый, старательно выглаженный наряд, и запел удивительно неживым скрежещущим голосом что-то веселое. Аполлон Безобразов не слушал, однако был чрезвычайно доволен; занимала его необычайная, совершенно условная жестикуляция куплетиста, в чистоте сохранившего ложноклассическую традицию: он то прижимал руку к сердцу, то отводил ее не далее, но и не ближе, чем следовало по строгому канону, и наконец, подняв ее вертикально, спел даже что-то коммунистическое своего сочинения, во всем показав старую, из рода в род переходящую цирковую выучку.

И вот уже синими лучами, туманными мирами, далекими, недостижимыми солнечными ландшафтами появились и поплыли перед глазами фотографические мифы. Это были то лунные горы, снятые при дневном свете, то ассирийская архитектура небоскребов, то комнаты, полные качалок и преступников, мимо окон которых ежеминутно проносился по-

езд «элеветера». Там обсуждалось противозаконное деяние, а ничего не подозревающая молодая наследница на широкой белой машине уезжала в коричневую дрожашую фотографическую даль, но уже ее настигали решительные и добродушные второстепенные правонарушители, вскоре должныствующие рассеяться и даже разлететься по воздуху, и вот уже две слонообразные головы великанов, неустанно посыпаемые нетающим борным снегом, пошевелив исполинскими глазами, соединились, наконец, образовав громадные кожные складки в заключительном губном прикосновении.

Опять в оркестре звякнуло что-то, и утомленная музыка миглом остановилась на половине фразы; и вот уже громко и дружно ударили сиденья, отскакивающие на пружине, красные влюбленные неловко отстранились, а мы отбыли в еще более нереальное царство пыльных деревьев, светящихся вывесок и передвижных мороженщиков. И мне заранее было известно, куда направляются наши заиндевевшие стопы.

С детства любил Аполлон Безобразов фантастическую сень паноптикумов и музеев восковых фигур, луна-парков и гимнастических залов, их аляповатые облака из папье-маше, их легкие картонные готические своды, их ярко окрашенное железо, их пыль и запустение.

Он говорил, что только для человека, то есть для мыслимого, мир непроницаем и неподвижен, для Бога же, то есть для мыслящего о мире, все проницаемо, текуче и изменяемо

по желанию столь же, как проницаемы и изменяемы для нас объекты нашего воображения или автоматы в паноптикуме, где все двигается, поет и загорается по произволу. Особенно любил он старые немецкие автоматы, например «тушение пожара» или «выезд президента», где тотчас же за исчезновением монеты начиналась сложная механическая возня, что-то тикало, и уже раскрывались дверцы маленькой пожарной части, из них выкатывались свинцовые повозки, а из трехэтажного домика, где горел электрический пожар, из верхнего окна периодически с важной настойчивостью высовывалась фигурка погорельца.

Хиромантические аппараты интересовали его тоже: там загорались большие и тусклые лампы, жужжал регистрирующий механизм, в то время как рука, прижимающая десятки металлических пузырьков, индевела от напряжения. Женщины в стеклянных коробках железною рукою вынимали предначертания судеб и, четким жестом бросив в медный котелок, останавливались с неизменной улыбкой, а из иных с тихим шипеньем брызгало облачко нестерпимых аптекарских благовоний. В других звучала хрипая полустертая музыка, которая, как из отдаления, доносилась из грязных эбонитовых воронок. Затем контрольная лампочка гасла и музыка прекращалась. Зеркала слоноподобно изменяли посетителей, ружья на подставках бесшумно палили в электрические цели, а иные аппараты, потушенные и покрытые пылью, безмолвно хранили свои отшумевшие игрушечные тай-



ны. Затем галерея поворачивала и, опускаясь вдоль ступеней, являла длинный ряд безнравственных стереоскопов, у которых, стыдливо смеясь, толкаясь и в восемь очес норовя смотреть в одно и то же тускло изнутри освещенное стекло, теснились неуклюжие загорелые солдаты с расстегнутыми воротами, как будто голубые коровы, введенные в комнату. Иногда глазоблудное приспособление отказывалось действовать, и они все громче и громче стучали в него ладонью, огорченные исчезновением скудных своих достатков, и растерянно озирались вокруг. Жаловаться в дирекцию они не решались. Да и необычайно толстая одноногая дирекция, сидя около искусственного соловья и витрины с шуточным калом и рвотными конфетами, не любила трогаться с места. Тихо и странно было внутри стереоскопов, там тоже зажигался пыльный желтоватый свет, и на серых негигиеничных постелях или из неусовершенствованных ванн появлялись улыбающиеся жирные женщины, являя антиморальные бедра и иные интересные места, к сожалению солдат, достаточно завуалированные. С металлическим треньканьем картина сменялась картиною, и вскоре последняя красавица так и замирала в неведомой своей пространственности четвертого измерения, высоко задрав неумытую ногу.

Дальше коридор, заворачивая, спускался в подвал со спортивными аппаратами. Широкая низкая комната была полна чудовищным металлическим населением на одной и двух ногах. Чугунный негр посередине груди являл кожаную

подушку для ударов, сила которых тотчас же отмечалась на циферблате; кроме того, от особенно могущественных в глазах его зажигался тусклый свет, и он странно металлически пищал, не меняясь в лице; другие аппараты являли медные руки, ручки и рычаги, мячи, висящие на цепочке, а также ножные мячи, прикрепленные к полу. Дальше было еще одно неосвещенное отделение, где, как я думал, и помещалось самое интересное.

У одного из силомеров с двумя косыми рукоятями толпилось и галдело небольшое хмельное общество; в нем героем и центром внимания был толстый красный человек, периодически сдавленно восклицавший «ah voila!»<sup>10</sup> или «sans blagues»<sup>11</sup>; другой, маленький, в синем рабочем костюме, пьяным голосом доказывал, что ручки для него велики, но никто не допускал этих смягчающих обстоятельств. Скромно Аполлон Безобразов, стараясь казаться по возможности узкоплечим, протиснулся к динамометру. Пьяные силачи слегка расступились и с полуулыбкой смотрели, как он, слегка приседая, примаскивался к рычагам.

Потом стрелка, дрогнув, вышла из неподвижности и, постепенно зажигая контрольные жучки, показала 100, 250, 500, 750; около 900 она заколебалась, но он судорожно скривился, и стрелка метнулась к 1100.

---

<sup>10</sup> «И вот!» (фр.).

<sup>11</sup> «Ты всерьез?» (фр.).

– Nous mais il est ride le mec!<sup>12</sup>, – сказал из-за спин краснощекий солдат, тот самый, что в коридоре бил по стереоскопу. Великан, презрительно вытаращив губы, спросил:

– Comment done on s'y prend?<sup>13</sup> – И, грозно насупившись, взялся за рукояти. Стрелка охотно двинулась с места и бодро пошла по кругу, но, дойдя до 800, она покачалась немного и остановилась. Рычание, судорожное усилие, стрелка переползла на 850. Невозможно было не заметить той переоценки отношений, которая произошла вокруг силомера, Безобразову прекрасно знакомого и на котором он годами уже тренировался. Великан как-то сразу уменьшился в росте, маленький синий человек почти торжествовал, остальные ожили.

– Mais il ne faut pas tirer!<sup>14</sup> – сказал он нехотя. Тогда Аполлон Безобразов с возможной медленностью повторил упражнение, дойдя на этот раз ровно до тысячи.

– Et vous voyez!<sup>15</sup> – смущенно сказал быкообразный и отошел. Однако на других аппаратах он остался победителем, хотя Аполлон Безобразов ни на одном не отставал далеко, ибо, состязаясь с сильнейшим, он в этот вечер побил несколько своих рекордов, которые были тотчас же записаны карандашом на масляной краске стен, видимо, никогда

---

<sup>12</sup> Силен, однако, парень (*фр.*).

<sup>13</sup> За что тут взяться-то? (*фр.*).

<sup>14</sup> Смываться не надо! (*фр.*).

<sup>15</sup> Ну и ну! (*фр.*).

не мытых, где одна из надписей имела уже пятилетнюю давность.

Видимо, Аполлон Безобразов превосходил себя в этом подвале. Никогда я не видел его таким серьезным. Лицо его обезобразивалось от напряжения, шея наливалась кровью, и сразу же после упражнения кровь отливала от него и оно становилось бледным. Солдаты с суеверным уважением наблюдали за ним. Досаду же свою пьяная свита толстяка срывала на мне. Узкие железные ручки причиняли боль моим неискусным рукам, и стрелка, попрыгав, останавливалась где-то около 50, 100, 150 и ни за что, как железная гора, не двигалась уже с места.

В минуты усилия страшно было лицо Аполлона Безобразова, когда, побеждая границы естества, он всю свою моральную, может быть, даже духовную энергию вкладывал в невероятное напряжение своих рук до боли, до красных кругов перед глазами, до мягко плывущих во все стороны огненных завитков. И как бы сквозь сон, как райский свет, видел он все выше и выше загоравшиеся над ним лампочки; и вот, наконец, как пение Валькирий, уносивших его душу, слетал к нему громкий трезвон широкого круглого колокола на исходе пружины автомата. Часто только на улице замечал он, что до крови разбил себе руки, и они напухли высоким кровавым бугром, и, кажется, все деньги до последней копейки растратил бы он, опуская их без счета за всех присутствующих в металлическое брюхо спортивных Молохов.

Ах, если бы хоть часть этой дикой энергии можно было пробудить на благую деятельность, не на пустяки и на миг; и опять он совершенно успокоился, и она заснула в преисподней, из которой путь к жизни преграждало великолепное его «зачем».

## Глава IV

*«Je sins Dieu», – dit Faustrole. «Ha, ha!» – clit Bosse de Nage sans plus de commen-taircs.*

*Alfred Jarry<sup>16</sup>*

Тем временем на улице пошел дождь, и по тротуарам вытянулись, расплываясь, зеленоватые и красные отражения. Обсасывая со всех сторон свое мороженое, мы постояли в нерешительности под каким-то навесом, вслушиваясь в отдаленное и непрерывное дребезжание звонка, означающего возобновление представления в иллюзионе; впрочем, соседние биографы тоже подавали голос, и сквозь слабый шум воды непрерывно слышалось, как жалобно подпрыгивает звуковая горошина в металлическом горле звонка. И вот уже один из них остановился, пора было двигаться. Впрочем, холодная вафля в моих ослащенных пальцах сделалась уже совсем тоненькой и скоро сама, как заключительное наслаждение, должна была быть съедена.

Мы еще раз посмотрели на пышную, ядовито-зеленую сень деревьев, неестественно освещенную снизу, вышли из неподвижности и, тотчас же промолив ноги, бегом миновали стоянку автобуса «Н», дошли до писатьера, находящего-

---

<sup>16</sup> «Я – Бог», – сказал Фаустроль. «Ха-ха!» – ответил Босс де Наж без излишних комментариев. *Альфред Жарри (фр.)*.

ся против универсального магазина, закрытого в этот час, но, не доходя до Port Royal Cinema<sup>17</sup>, были остановлены веером разгонявшим воду и во всю прыть подъехавшим такси de Dion Bouton.

Бодрый молодецкий голос окликнул Безобразова:

– Алло, Аполлон, полезайте в машину и молодого человека тоже с собой берите, сегодня Маруси Николаевны именины в ателье Гробуа, и они непременно наказали вас сыскать.

В голосе этом, принадлежащем толстеющему, лысеющему, но необыкновенно молодцеватому морскому офицеру Косте Топоркову, было столько ласкового и вместе с тем наглого русского удалства, столько заразительного буйства какого-то, что, не зная ни что, ни куда и оставив мысль о соблазнительном сарае, пахнущем преступниками, мы, нагибаясь, тотчас полезли в кибиточку и скоро, раскачиваясь в разные стороны, нагруженные бутылками, со страшной скоростью выехали в пустынный *impasse de la Photographic*<sup>18</sup>. Зажженные фонари ярко осветили низкую каменную стену, несущуюся нам навстречу, но вдруг пронзительный визг огласил воздух, и автомобиль с остановившимися колесами, протащившись по жирной мостовой, ударил в забор, осыпая штукатурку, и остановился подле полуразрушенного строения, похожего на фабрику.

– Ну, вылезайте! – раздался опять тот же нагло-веселый

---

<sup>17</sup> Кинотеатр «Порт-Руаяль» (*фр.*).

<sup>18</sup> Тупик Фотографии (*фр.*).

голос, и, поднимаясь по темной разбитой лестнице, мы уже издали слышали громкий, ритмично заглухающий рев граммофона и радостно и неприятно, как-то против воли, оживились. Но это была ложная тревога, ибо сами хозяева ждали Топоркова, чтобы ехать на rue du Dragon<sup>19</sup>, куда за многолюдностью было перенесено торжество.

Опять носило нас и бросало из стороны в сторону в тесной коробке, обитой материей, но на этот раз нас уже было больше, и в беспорядочном смехе сидящих друг на друге людей и в невпопад громких их словах уже предчувствовалась радость какого-то близкого освобождения и надежда на распутство.

Пройдя небольшой двор и несколько коридоров, мы очутились в пустом высоком зале, рассеялись в нем и сразу примолкли, почувствовали себя неуютно. Помещение было очень странно, стены его с правой и левой стороны тонули в сумраке, ибо единственная яркая синяя лампа освещала, вернее, озаряла его, ничуть не рассеивая темноты под высоким стеклянным потолком. Но посередине, как раз под тем местом, где горела лампа, наспех расчищенное от мольбертов пустое пространство было направо и налево отгорожено низкою балюстрадой; все это заканчивалось пустым помостом для натурщиков. За изгородью налево, в скульптурном отделении, из темноты причудливо возникали поломанные гипсы и работы учеников, покрытые на ночь мокрыми

---

<sup>19</sup> Улица Дракона (фр.).



тряпками, дальше были клозеты, умывальники, клетушки, где раздевались натурщицы. Под потолком висели картины столь пыльные, что даже при дневном свете ничего нельзя было разобрать. Изредка только луч света падал на желтое лицо в высокой шляпе девяностых годов, ибо академия была очень старая, полная переходов, чердаков и закоулков, полуманных декоративных предметов и бесчисленных забытых недописанных холстов. Все вместе напоминало кулисы заброшенного театра или типичный дом привидений, которых солнечный или электрический луч, сквозь слой пыли повсюду, вызывал со стен и из углов. В отличие от света, звук хорошо передавался здесь, и рев могущественного граммофона, привезенного нами и неведомо у кого одолженного, с грохотом разносился под сводами.

Эстрада, заменявшая стол, была уставлена длинными рядами бутылок и бутербродов, а посередине на тщательно выметенном пространстве хозяин помещения, широкоскулый литовец, боксер, натурщик и сторож, бережно своею огромною ладонью веером рассыпал тальк из жестяной коробки классическим жестом сеятеля; скромный и застенчивый, в своей спортивной карьере он был остановлен недостатком злобы, ибо его крестьянскому добродушию претила постоянная необходимость бить по слабому, окровавленному месту противника, например «lui fermer les yeux»<sup>20</sup>. Далеко отставив зад, чтобы не наделать несчастий своими огромными

---

<sup>20</sup> «Бить по глазам» (фр.).

ступнями, он бережно танцевал с каждой новоприбывшей.

Все мы расселись в каком-то недоумении, и никто еще не решался ни пить, ни танцевать. Аполлон Безобразов рассматривал простенки. Я и Топорков исследовали переходы и классы, и только граммофон чувствовал себя великолепно, он то гремел металлическим шумом, то нежно-округло ворковал саксофонами, особенно двумя саксофонами, неустанно догонявшими друг друга, то вдруг, быстро и невнятно выговаривая слова, пел хриплым человеческим голосом, вскрикивая и шамкая, то вновь колокол ударял в глубине музыки; на четверть секунды все останавливалось на синкопе, и, вновь переменяв темп и нарочно вводя в затруднение мнимых танцоров, снова рокотали трубы, били цимбалы, а скрипки, вдруг оставшиеся одни, нежно и согласно уносились, посвистывая, в музыкальном изнеможении.

О, бал, как лирическая гроза рождается твой разнообразный шум. Ты то затихаешь – и явственно слышны тогда отдельные разговоры по углам, грубые споры и тихий, счастливый, эротический смех, – то вновь столпотворение твое становится всеобщим, кружки распадаются, охваченные дионисииским нетерпением, все толкаются и поют, проливая вакховые дары, и только упившиеся, как раненые в оргическом сражении, слабо стонут, не могучи приподняться. Странною глухотою разливается оккультная влага по отравленному организму, и как бы из отдаления слышны пульсации музыкальной машины, ритмирующей танец, а танцующие, высту-

пы и углубления которых совпадают все точнее, мимируют Цитерино действо, головы их склоняются на плечи, а лица – к запаху надушенных волос. Древние страхи ослабевают, и всеобщее танцевально-телесное братство охватывает добродушных. Да и музыка уже не слышна вовсе, какое-то ритмическое шарканье руководит телами, которые сами, как бы мысля, неведомым симпатическим образом передают друг другу инициативу поворотов, замедлений и остановок. И достаточно музыке на мгновение прерваться, взволнованные голоса, как разбуженные наркоманы или неудачным движением разлученные любовники, наперебой требуют вернуть им телесно-музыкальное согласие их динамического андрогината.

О, танец, алкоголическими умиленными очами как любезно созерцать двух, тобою преобразенных, двух самозабвенных, двух, оторванных от антимузыкального хаоса окружающего, двух, возвратившихся в ритм из цивилизации, в музыку действия из безмузычия мышления. Ибо в начале мира была музыка. Как красивы кажутся они, соединенные и занятые танцем, когда они, то останавливаясь, то покидая неподвижность, возвращаясь и вращаясь, отделяются видимо от окружающего и, забывая действительность, может быть, более готовы умереть от усталости, чем остановиться. Но только музыка иссякает, как будто вода стремительно покидает водоем, и ошеломленные рыбы, красные, подурневшие, в растерзанном платье, бьются еще мгновение и озира-

ются, не могучи найти равновесия. Как уродливы они в ту минуту, иссякшие в третьем пластическом существе, в точности, как измученные любовники, с трудом высвобождающие свои ноги.

Тем временем бал мгновенно опять затихает, как долгая южная непогода. С разных сторон раздаются пререкания, пьяные, качаясь, обнимаются, а иные, уткнувшись в диваны, предаются глубочайшему пессимизму.

Поделив женщин, компании веселятся или скучают отдельно, и настроения их, не совпадая, вносят моральную дезорганизацию. Ибо общее празднество всегда быстро делится на ряд отдельных балов, имеющих каждый свой центр на каком-либо особом диване, и в то время, как из далекого угла обезнадежившиеся требуют от музыки растравить соединившее их на время, настроение соседнего хмельного человечества успело подняться на завидную высоту и, чтобы удержаться на ней, нуждается в бодрых металлических звуках; тогда возникают споры из-за пластинок и освещения.

Но и отдельные эти балы делятся во времени на ряд непрочных музыкальных атмосфер, чаще всего – смен воодушевления и упадка, порожденных иногда лишь счастливым повторением какого-нибудь блюза с особенно нежной звуковой фигурой, пронизывающей сердце неведомой, неповторимой сладостью.

О, бал, как долгий день, как жизнь или музыкальное целое, распадаешься ты, неразделимый, на необходимые аэо-

ны, лирические твои периоды. Таковы: холодное вступление, гимнастическое развлечение, танцевальное одурение, алкогольное забвение, словесное возбуждение, сексуальное утешение и рассветное размышление; но вернемся к его истоку, когда атлетический хозяин заботливо посыпал пол и никто еще не прикасался к волшебным и горьким жидкостям и не требовал сочувствия и утешения временных братьев, готовых, но и хорошо знающих, как приятно пролить несколько пьяных слез, когда вокруг воздух глух, дымен и наполнен запахами и шумом до того, что весь бал кажется одною разноцветною жидкостью. И только охваченный нестерпимой нуждой, с полузакрытыми глазами, прижимая руку ко рту, уже полному рвотой, уже полуживой, рвется куда-то в небытие гигиенических мест, расталкивая танцующих, чтобы опять, ослабев и освободившись от демона, разрывающего внутренности, вернуться в музыку. Ибо медленно, столь часто потухая, разгорается огонь бала.

О, нищее празднество, как медленно занимается твое смятение и, кажется, не настанет вовсе. Никто сперва не решается танцевать, даже проходить по залу. Разодетые с тревогой осматривают оборванцев, и кто-нибудь обязательно неестественным голосом возглашает:

– Выпьем немного, господа!

Но даже пить никто не решается. Устроители с тревогой смотрят на часы. Ведь уже половина одиннадцатого. Гости с каким-то недоумением рассматривают неровные бутер-

броды и разнокалиберные стаканы, но вот уже кто-то, мигом оказавшись без пиджака, раскупоривает желтую бутылку, строго сквозь очки оглядывая присутствующих.

Аккуратно, как художник, легонько сперва прикасающийся к чистому холсту, как бы боясь запачкать, льет он желтую, кисло пахнущую влагу в толстый низкорослый стакан. Но час пройдет, и уже свободно кисть летает по полотну и, пачкая пальцы в нервической спешке, как попало, не глядя, выдавливаются тюбики на палитру. Но пока каждый блюдет свой стакан, лишь до половины его наливая, а также напиток свой, избегая губительного «ерша» – интерференции спиртов, и с напускною серьезностью медленно пьет толстыми розовыми губами девятнадцатилетний близорукий молодой человек, стыдящийся своего здоровья. Пьяницы пьют, не морщась, они скорее всего пьянеют и почти уже не переносят вина, глотая его с ловкостью фокусников и вытирая руки о волосы.

Девушки, только что вошедшие группой, взаимно одолжившие туфли и юбки, долго держат в руках стаканы и озираются, как будто чего-то ожидая; но это что-то решительно медлит.

– Может быть, уйдем, господа, – вдруг говорит кто-то, отмечая этим точку наибольшего сопротивления белесого дневного сознания срамным и прекрасным подземным божествам.

Но вот вино оказало свое первое действие, тщательно по-

ка скрываемое присутствующими, некоторые из коих всегда умудряются с изумительной, прямо-таки баснословной быстротою напиться в самом начале представления и являть красную веселую рожу еще посреди всеобщего напускного благообразия.

Двое шоферов, загорелых, как кирпичи, и аккуратно по-офицерски одетых и выбритых, степенно беседовали с Костей Топорковым в одной рубашке и эспадрильях, как принарядившиеся отпускные с боевым товарищем в грязной окопной форме. Один из них, высокий немец с большими золотыми зубами, широко улыбаясь, обращался к невысокому широкоплечему человеку, белоснежная рубашка которого свежо оттеняла его красную худую шею:

– Ну что ж, поговорим, Олег Васильевич?

– Об чем же мы, доктор, поговорим, если мы ничего еще не выпили, – ласково и браво улыбаясь, отвечал тот. И уже Топорков, раскачиваясь, подносил им мадеры, стараясь налить обязательно доверху, причем дружественно, притворно протестуя, они отводили его толстую руку.

Пей, братец! Вино напомнит тебе о прошедших днях. Ты родину вспомнишь и шелест прозрачной березы. Пей, милый, товарищей вспомнишь, упавших в боях, и слезы покинутых девушек, легкие слезы. Пей, загорелый товарищ, быть может, навеки, быть может, на время скитанья. Шути, веселись, загорелый ночной человек. Пусть музыка плачет и время несется над нами, ты все потерял, ты простил и уехал

от всех. Ты начисто выбрился, сел на стального коня, шутя, улыбаясь, по улице чисто проехал. Задумался, ахнул, мелькнул и не вспомнил меня. Ты выпить с товарищем в белой рубашке приехал. Шоферская доблесть, что ж, выпьем, встряхнись и прости. Нам легче от смеха, и мы никому не помеха. Шоферы пьют, вспоминая прошедшие дни. Стаканы стучат, вспоминаются павшие братья, что в степи родные, как в улицы синей огни, упали, раскрывши могучие руки-объятья.

Все плывет вокруг; как бы ступая по вате, пьяный вваливается в ватерклозет. Спеша вернуться куда-то, где что-то продолжается, он неловко вынимает мочеточник, но никак не может нацелиться струей в почерневшую чашку, и жидкость переменчивым плеском падает вокруг. Иногда струя касается платья, тогда на этом месте становится необычайно тепло. И вдруг невыносимый соленый вкус подступает к горлу. Раздирая воротник, свободной рукой опираясь о стену, жертва вся содрогается, но ничего, кроме едкой струйки желудочного сока, не выливается изо рта. Но вот, наконец, волна, кажущаяся ему огромной, вырывается из его внутренностей и, крепко ударяя в нос, с масляным шумом низвергается в раковину еще и еще, наконец, – все же облегчение. Вместе с последнею ядовитою струйкою желудочного реактива выплескиваются какие-то неузнаваемые остатки съестного, и, побледнев, как после долгой болезни, очистившийся и потрезвевший выходит из смердящего узилища, стараясь казаться как ни в чем не бывало и незаметно вытерев слезы,



навернувшись от напряжения, в то время как розоватый кусок макарон, прилипший к носку его башмака, явственно свидетельствует о роде его отсутствия.

Тем временем никто не меняет иголок граммофона. Центральное явление, он шумит в одиночестве, хотя около него находится «стуло печали». Обиженные чем-нибудь, вообще всякого рода вышедшие из круга, потерпевшие эротические неудачи и оттиснутые с диванов, где четверо остряков стараются хоть чем-нибудь прикоснуться к разморенной смехом полнотелой соотечественнице, вдруг охваченные печалью отправляются заводить граммофон, фонограф или патефон, как произносят иные: «веселитесь, мол, а я так, наблюдаю!» Но вот уже вежливо к отошедшему прибавляется какая-нибудь бродячая душа, приглашая алкоголизироваться или затевая разговор, и опять очарование внеположения разрушено, и отщепенец возвращается в смуту танцующих.

Только не думайте, что всем им неотступно весело: только иногда и на краткие минуты что-то удается, совпадает, все согласно смеются, не перебивая друг друга, или, поделив между собою различные части тела красавицы, переживают приятный, хотя и неполный, эротический момент, и низкое счастье, выйдя из-за вечных облаков, недолго, но тепло озаряет эту антиморальную сцену, но все расстраивается, и опять воцаряется старая мука непрестанного ожидания чего-то.

О, порочное и отдохновенное танцевальное действо! Ты,

действительно, сперва глоснешь и бестолково прозябаешь, как вдруг какой-нибудь отчаянно веселый ласковый возглас или звон разбиваемого стакана как будто подает неведомый сигнал к отплытию, и все – ты вместе с раскрасневшимися пассажирами отчалишь, двинешься к Цитерину острову под мерную пульсацию музыкального своего двигателя.

Каким-то дымом наполнится вдруг разгоряченная атмосфера. Все кричит и колеблется, плывет и звенит в ушах. Незнакомые целуются, клянясь в вечной дружбе. Женщины, танцуя, опускают прекрасные головы на близлежащие плечи. Волна братства и нежности, безнадежности и веселья проходит по сердцам, она все ширится и, кажется, продолжись это еще немного, уже никогда, никогда чего-то не будет и навсегда, навсегда запомнится что-то; но вдруг какой-то злой демон, не поддавшийся очарованию или потерявший чувство действительности, останавливает граммофон и, остро ненавидимый остальными, настойчиво предлагает какую-нибудь нелепую игру, и вот уже забывшиеся очнулись, руки, оставленные в чужих потных и ищущих руках, испуганно отведены прочь, и уста, уже готовые соединиться, отстраняются навсегда. И всегда находятся эдакие изверги, нечувствительные к веянию иного, иррационального счастья.

– Сколько ни съем, все равно все начисто возвращу природе. А где же порто? – озирается Павлик, красивый всегда, как будто только что вымытый, гардемарин. Порто предусмотрено упрятно в соседнем ателье, там небольшой кон-

спиративную группой, высоко запрокидывая голову, из горлышка выпивает наиболее боеспособный молодняк; но какое разочарование, когда, вернувшись к заповедному, не находят ничего вовсе. Сперли бутылочку! И совестно разыскивать. Все равно через несколько минут она сама собою, но совершенно пустая, появится развратно посередине стола.

Унести, унести, уединиться; так, постепенно, танцующая пара, кружась, отдаляется от освещенного пространства и все дальше и дальше уходит от любопытных глаз. И долго потом не возвращаются они, сидя на табуретах или на полу у стенки неподвижно, о чем-то говорят они о своем, о вдруг возникшем у них своем, тепло и меланхолично дорогое, а по другим табуретам вокруг разбросаны снятые пиджаки, сумочки и смятые шляпы, ибо как неважно все до рассвета. Ах! До рассвета...

– И ты, вино, осенней скуки друг, веселый утешитель всяких мук.

– И вовсе не веселый, а какой-то там другой, – говорит наставительно наливающий подающему стакан. Вообще, сперва каждый свой стакан прячет, стыдясь и боясь другого, затем все, подобрев, пьют как попало; снимаются пиджаки, засучиваются рубашки, показываются руки и с гомосексуальным удовольствием ощупываются. Иные, наоборот, показывают, что у них мускулов вовсе нет, и почему-то сочувственно заглядывают в глаза или ссылаются на особенно крепкие ноги или животы. Тогда начинается пьяное спортивное

состязание, где обязательно все, что делают акробатически одаренные – то ли пройтись на руках или зубами, не сгибая колен, достать с полу спичечную коробку, – тотчас же берется повторить какой-нибудь пьяненький и все падает о пол лицом, под всеобщий смех тщась за подмышечные части поднять молодую женщину или мужчину высоко над своей головой. Он обязательно падает на землю вместе со своей жертвой, и уже никто и ни за что не соглашается помочь ему стереть то, что кажется ему досадной неловкостью. Долго потом оттенок небрежения слышится в речах женского общества, обращенных к нему, грязному и раскрасневшемуся, с ним отказываются танцевать, замалчивают его остроумные замечания, и он страшно доволен, когда какая-нибудь толстая женщина соглашается на его приглашение. Желая показать, что он танцует прекрасно, он танцует ужасно, вихляя плечами и задом, и долго потом не отходит от спасительницы, чрезвычайно довольный оказией. Скоро танцы возобновляются, и всегда какой-нибудь другой необычайно маленький человек, всех толкая, танцует со всеми самыми веселыми и красивыми женщинами, веселя их до упаду, нагло кричит и вот уже оказывается в неизвестно откуда взявшейся феске, в то время как записные танцоры с деланным равнодушием старательно выводят па и с неприязнью оглядываются на него. И уже бал приобретает свой многогруппный хаотический порядок, и сам уже, как хорошо заведенная фабрика, шумит долгие часы, в то время как новые и новые груп-

пы входят и сперва в изумлении толпятся на пороге, причем мужчины, спиною к балу поворачиваясь, инстинктивно оберегают новоприбывших женщин. Они почти со страхом разглядывают раскрасневшихся и потных танцоров, их смятые галстуки и грязные башмаки, а на лицах – следы вакхического обалдения, счастливого и кратковременного, будто медлят в нерешительности перед тем, как броситься в горячую воду, в то время как мимо них, толкаясь, выходят по нужде или, собрав деньги, уезжают за вином. Занятые и веселые, несутся посланцы без шапок по пустым улицам, бестолково советуют шоферу и, чувствуя еще и слыша шум граммофона, смех и шуршание танцев, как близкое «свое» оставив бал, в которое они сейчас победоносно и многобутылочно вернутся, с которым сейчас опять сольются счастливо. А наутро появляются и совсем посторонние люди, неведомо уже как прознавшие о бале; пьяненькие и грязные, они сперва озираются робко и стараются покушать остатков, затем грубо орут, рассказывают что-то и, совсем уже готовые быть выброшенными, ожесточенно защищаются молодежью, которой, скорее, свои, как чужие, а чужие ближе своих. Ибо к третьему часу ночи весть о выпивалище уже обошла монпарнассские кафе. Возвращаясь, виноносы застают уже ряд перемен. Намеднишние герои бала, кричавшие больше всех, уже тихо сидят по углам, разговаривая, или лежат подле стенки на чем-нибудь пальто и тихо стонут, зажав в зубах лимон.

– Да не смейтесь вы так, что вы всегда смеетесь?

– Это вы смеетесь, а вот послушайте, я вам расскажу. Подходит ко мне жином. Садится у вуатюру. О ла-ла, думаю. Ну, везу, значит. Везу час целый, оглянулся: на счетчике двадцать семь франков. Остановился я, он ничего. Я, значит, его за манишку: плати, сукин сын. А он мне русским голосом отвечает: «Я, братишечка, вовсе застрелиться хочу, да все духу не хватает», – потому, мол, и счетчик такой. Плачет, и револьвер при нем. Ну, я, значит, револьвер арестовал, а его в бистро. Ну, значит, выпили, то-другое, о Бизерте поговорили. Он, оказывается, наш подводник с «Тюленя», то-другое. Опять за машину не заплатил.

– Так и пропадаем, как Тишка.

– Какой Тишка?

– Богомилов, здоровый такой, с бородою, лейб-казак. Его теперь бумаг лишили за то, что жулика одного пожалел. От полиции его повез, ну и въехал в ассенизацию.

– Жулика, конечно, каждому русскому жалко. Все мы жулики.

– Да успокойтесь, выпейте лучше. Да и барышни скучают.

– Я уже пил! Я уже всю горечь жизни выпил.

– Эх, пьяницы! – наставительно вздыхал совершенно захмелевший человек, подмигивая красным глазом.

– Совершенно как тот. Подушки облевал, коврик обделал, а я ему говорю: штаны-то, штаны, les pantalons застегни, а он мне: не застегну, всему миру покажу. Ну, здесь ему ажан как

даст. Уж я сам за него вступился.

– Нет, вы подумайте!

– Нечего думать. Ты лучше нос вытри.

– Да ты что здесь за красавец выискался? Ты думаешь, я пьян?

– И есть пьян.

– Я! Я – пьян?! – кричал оскорбившийся, наступая, хотя всем, и ему, было ясно, что он именно пьян. Но еще слишком много добродушия было разлито вокруг. Все дружно бросились не допускать рукоприкладства, чему и сами взбеленившиеся были искренне рады.

– Давайте лучше споем что-нибудь.

– Ну, вы, Свешников, начинайте.

Свешников поет. Выставив адамово яблоко и, маленький, сделавшись вдруг серьезным, хриплым своим и приятным баритоном:

Выпьем мы за того,  
Кто повешенный спит,  
За револьвер его,  
За честной динамит.

А еще за того,  
Кто «Что делать» писал,  
За героев его,  
За честной идеал...

– Нет, слушайте, вы врете, не так вовсе кончается!

– Господа, один кто-нибудь должен затягивать.

– Нет, мы сейчас споем «Быстры, как волны».

– Быстры, как волны, все дни нашей жизни, – начинают вразброд голоса. И обязательно уже и без того неладный хор кто-нибудь начнет передразнивать:

– Бистлы, как волны, все дни нашей жизни. – И тотчас больно, физически больно стало всем. «Опустошенные души, – думаю я, – пел бы хоть кто-нибудь один».

– Костя, спой ты.

– Ну что ж, я спою.

Он поет. Голосу у него, конечно, никакого нет, да и слух с ошибками. Но громко зато поет, на самые верхи залезает. Высоко выкатив жирную свою шоферскую грудь, широко расставив крепкие свои кавалерийские шоферские ноженьки. Лихо поет, и вот все заслушались, все приумолкли и даже целоваться перестали. Честно поет, широкогрудо и анти-музыкально, гражданственно и по-разбойничьи тоже:

Ресторан закрыт,  
Путь зимой блестит,  
И над снегом крыш  
Уж рассвет горит.

Ты прошла, как сон,  
Как гитары звон,  
Ты ушла, моя



Ненаглядная.

– Еще, Костя.

Три сына было у меня.  
Три утешенья в жизни,  
И все они, завет храня.  
Ушли служить отчизне.

Пой, светик, не стыдись, бодрый эмигрантский шофер.  
Офицер, пролетарий, христианин, мистик, большевик, и не  
впрямь ли мы восстали от глубокой печали, улыбнулись, вер-  
нулись к добродушию.

Как за гаем-гаем цыганы стояли.  
Они песни пели, играли и гуляли.

– Подходит ко мне жином, садится у вуатюру. О ла-ла! –  
думаю.

Жином, конечно, черт. Шофер сорок дней не ел и не чи-  
тал Достоевского. Антихрист же все равно превратит камни  
в хлеб пятилетки. Потому что жалостлив антихрист. И пес-  
ня льется, и жизнь несется, без богатств богатая, без злобы  
лютая, без сердца добрая – до рассвета. Ах, до рассвета!

Наглая и добродушная, добрая и свирепая, лихая Россия,  
шоферская, зарубежная. Либерте, фратерните, карт д'идан-  
тите. Ситроеновская, непобедимая, пролетарско-офицер-

ская, анархическо-церковная. И похоронным пением звучит цыганщина, и яблочко катится в ней, и слышится свист бронепоезда.

Париж, Париж, асфальтовая Россия. Эмигрант – Адам, эмиграция – тьма внешняя. Нет, эмиграция – Ноев ковчег. Малый свет под кроватью, а на кровати Грушенька наслаждается со Смердяковым. Слышны скрипы, эмиграция молится под кроватью.

Кого-то нет. Кого-то жаль.  
К кому-то сердце рвется вдаль.  
На фронт уходит конный полк.  
В станице шум и смех замолк.  
Ах, не вернется, не вернется.

Это бессонная ситроеновская кавалерия выезжает на рассвете. Шуми, мотор, крути, Гаврила, по Достоевскому проспекту на Толстовскую площадь. А пока шуми, граммофон, пой, пташечка, пой, и лейся-лейся, доброе вино, и только не деритесь (хотя и подраться можно, и промеж глаз дать или получить куда лучше, чем вежливичать и таить дурное); подеретесь, потом и поцелуетесь, недаром Иисус воду в вино обращал (одобрял пианство).

– Ну, бросьте, вы бы тоже спели чего-нибудь, а то все руками да руками...

Подруга жизни неудачной.

Ты ненавистна мне, луна,  
Зачем глядишь в мой терем мрачный  
Сквозь раму тусклого окна.

– Да оставьте вы со своим Чаадаевым, спели бы лучше, а то Чаадаев да Чаадаев.

Чарочка моя, ненаглядная.  
Каленым золотом посере-брян-ная!

И снова шумит граммофон, и, мягко шевеля ногами, народ богоносец и рогоносец поднимается с диванов, а ты, железная шоферская лошадка, спокойно стой и не фыркай под дождем, ибо и до половины еще не дошло танцевалище, не допилось выпивалище, не доспело игрище, не дозудело блудилище, и еще не время тебе зигзаги по улице выписывать, развозя утомленных алкоголем, кубарем проноситься по перекресткам, провожаема залиvistыми свистками полиции. Ибо бал, как долгая непогода, только что разразился по-настоящему. Еще трезвы «се, хоть и пьяны, веселы, хоть и грустны, добры, хоть и злы, социалисты, хоть и монархисты, богомилы, хоть и Писаревы, и шумит вино, и льются голоса, и консьержка поминутно прибегает; а вот и консьержку умудрились напоить, и она, пьяная, кричит: «Vive la Sainte Russie!»<sup>21</sup> и обнимает доктора Фауста, который, долго держа недопитый стакан, один на высоком табурете, поставив ногу

<sup>21</sup> «Да здравствует святая Русь!» (фр.).

на другой, высоченный, читает на дне парижского Иерусалима зарю «Апокалипсиса Терезы».

Что делал Аполлон Безобразов во время бала?

Он ничего не делал.

Он пил?

Нет, он ничего не пил.

Он разговаривал?

Нет, Аполлон Безобразов не любил разговаривать.

Но он все же был на балу?

Этого в точности нельзя было сказать, ибо в то время, как бал, кружа и качая, объемлел нас, Аполлон Безобразов объемлел бал. Бал был в поле его зрения. Он входил в него и забывал его по желанию. Иногда в самый разгар его ему казалось, что снег идет над синим пустым полем. Иногда он видел горы. Иногда он вообще переставал видеть, тогда звуковые явления занимали его. Он позволял всему вращаться вокруг него, но сам не вступал во вращение. Он всем поддакивал, говорил сразу со многими и, не слушая никого, спокойно спал на словесных волнах.

Иногда ему казалось, что все представляются.

Это было правильно.

Иногда ему казалось, что все взаправду пьяны.

Это было также правильно.

Иногда ему казалось, что все глубоко несчастны.

И это также.

Иногда все казались бессмысленно счастливыми.

Еще казалось, что все запутались, забыли что-то, блуждают.

Иногда все казались мудрецами, постигшими все тайны Бога и природы в Боге.

И то, и другое было несомненно.

Все одновременно было вполне объяснимо, непостигаемо и не нуждалось в объяснении.

Но чаще всего комната казалась совершенно пустой, совершенно. Только бледный луч лежал на полу, ибо свет был потушен, и что-то медленно билось в стекла бесконечным однообразным звуком. Все было видимо сразу, но абсолютно к делу не относилось. Но в чем было дело?

Дело было в шляпе. Дело было в разрушении дела, в освобождении, в свободном полете шляпы по сферам и временам. Да, да, так! Комната пуста. Шляпа свободно движется и порхает, в то время как домик в бутылке, бал, шумит в ином измерении.

И снова Аполлон Безобразов просыпался к смеху. Однако, лишенный грусти, как мог он смеяться – *ignorabimus*<sup>22</sup>.

Лишенный жажды жизни до последней капли, как мог он жить – *mysterium*<sup>23</sup>. Презирающий мышление, как мог он думать. Ответ: небытие не может погибнуть.

Он не был и не не был – являлся, казался, был предполагаем. И все-таки он был *за, в и потому*.

---

<sup>22</sup> Мы этого не узнаем (*лат.*).

<sup>23</sup> Тайна (*лат.*).

В глубине переходов и залов, за многими дверями, там, во тьме, где, тихо вслушиваясь в отдаленный рев, говорят о нищете и сумерках, кто осторожной рукой касается старого расстроенного рояля, извлекая из него давно иронизированный романс:

Не искушай меня без нужды  
Возвратом нежности твоей?..

Иван Константинович играет. Должно быть, не знает, что в комнате есть посторонние; неловко, но спокойно сильные его руки опускаются на клавиши. Ему сорок пять лет всего, но он согбен, лыс и весь устремлен в отшумевший, погасший мир свой.

О, старость эмигрантская, если бы сердце могло любить, расширится, заболеть от любви, к тебе бы она была до последней капли. Как быстро ты сходишь на землю.

Иван Константинович – химик, несколько его заметок, как скромно он говорит, изданы при Академии наук. Но теперь нервность одолевает, ошибки в вычислениях множатся, простейшие реакции не удаются. Руки будто не слушаются. Тогда Иван Константинович играет в шахматы, гуляет в старой соломенной шляпе, варит гречневую кашу – демпинг. Но больше всего доброжелает. Он и денег «занять» рад всегда, только мало у него денег. Иван Константинович носит с идеей чудодейственного неразмокающего мыла, он об-

думывает необыкновенный искусственный жемчуг, он дремлет в кресле, вспоминая прошедшие потонувшие дни, в которых ровно ничего никогда не поймем мы. Овидий среди валахов, где твой прекрасный и грязный Рим, потонувший во времени? Сердишься ли ты на православное, само голодное, покрытое вшами? Нет, куда там, только письма матери искурили. Нет, куда там, только уничтожили заметки о теории квантов. Нет, куда там, только выбросили, оклеветали, лишили прав и хлеба. Ничего... Темнота. Иван Константинович глухо играет:

Разочарованному чужды  
Все обольщенья прежних дней

А вы, мускулистые дети, вам новая жизнь, европейская родина, парижская Россия, вам будет спорт, мистика и стоицизм, а им только расстроенный Глинка во тьме, слабые, неземные, смиренные звуки.

Иван Константинович играет, и все концерты приостановлены на рафаэлевских небесах, все хрустальные музыканты задумчиво, внимательно слушают слабые звуки, прямо до рая, прямо до сердца мира летящие из парижского подполья, и, может быть, только этим и за это все простится, все оправдается, забудется, возвратится к уснувшему добродушию, и вновь над березовой рощей солнце Иисуса взойдет. Какое? Колхозное? Ну, хоть и колхозное, а Иисусово.

Уж я не верю увереньям,  
Уж я не верую в мечты...

Тени встают. Шумят деревья срубленных парков. Лоснятся сквозь легкий грибной дождь крыши сгоревших домов, где матери пели, а отцы за книгой встречали всходящее солнце. Призраки счастья, ангельские бородатые лица прогрессивных литераторов – мужиков – монахов.

В душе моей одне сомненья,  
А не любовь пробудишь ты.

Ах, любовь, ты опять не веришь в любовь. Прощенье, не ждешь прощенья.  
Блаженны простившие много, ибо их царство небесное на земле.

В этот час, когда алкогольные пары смутили самые ясные головы, развеселили самых молчаливых и мгновенную пьяною грустью окутали сердца заядлых балагуров-анекдотистов. В этот час, когда никто уже не разбирается в стаканах, ни в пластинках, но важно всякому, чтобы вообще еще пилось и игралось что-то, чтобы сон бала не прерывался, хотя он становился все тяжелее и темнее. В час этот, повторяю, когда уже никто вовсе, кроме случайных пьяниц, не встречает проходящих и останавливающихся в нерешительности на пороге, среди вновь прибывших, затерянное в толкотне, по-



явилось новое лицо и смущенно, но вместе с тем естественно совершенно, даже с какой-то мрачной непринужденностью, хотя и испуганно, может быть, глубоко уселось на диван. Лоб у этого лица был непомерно высок, как будто лысел на зачесах, а на вершине его светлые соломенные волосы рождались с болезненной мягкостью, как то бывает у скандинавов. Лицо это было бледно, и углы широкого его рта были с горькой резкостью опущены книзу под длинным и прямым носом, нервически, без всякой причины двигающимся иногда. Но особенно странно шевелились брови; тонкие, еле видимые, они ровно отдалялись по белесому лбу, влажному от усталости, над широкими мутными глазами, тяжелый взгляд которых презрительно блуждал по лицам и вещам. Голова эта на тонкой шейке, низко вобранная в широкие плечи, имела какое-то детское выражение, слишком подчеркнутое своей мрачностью и презрительностью. Новоприбывшая, счастливая своим местом на диване, все же с тревогою готовилась к вопросам и нападениям. Но так как таковых не последовало вовсе, глаза ее, несмотря на утомленность, приняли выражение счастливо удавшейся шалости, и она, заложив ногу за ногу, взяла со стола брошенную кем-то папиросу и закурила, неумело втягивая дым, закашляла, покраснела и, украдкой оглядевшись кругом опять, видимо, поняла, что здесь она была в полной безопасности.

Так продолжалось бы еще долго, если бы гонимый отовсюду нелепицей быстрых своих волнений и молниеносны-

ми припадками чувства того, что «все это не то, не то» и что уйти бы лучше, но, вместо того, чтобы уйти, я по всегдашнему своему слабоволию не перекочевывал бы только от группы к группе, везде встречаемый безразлично, нигде не могучи вступить в круг, разговориться, ужиться, носимый, как утлое суденышко без привязи, по буре бала, каким-то неведомым образом, хотя и вовсе не нарочно, очутился подле новоприбывшей.

Черт, видимо, следя за всем происходящим, очистил мне место около нее, и, бросившись с размаху на диван и больно отбив себе ягодицу, я так и остался сидеть в неудобном положении, чувствуя тот особый пьяный энтузиазм, когда причинять самому себе страдания есть как будто все-таки какое-то утешение: вот, мол, тебе, вот, пусть еще хуже будет, все равно всем безразлично.

Тут я все же заметил Терезу, она разглядывала меня любопытно и спокойно, видимо, моментально поняв, что, несмотря на странность моего появления, от меня и подавно ничего не грозит ей.

Заметив этот взгляд, я тотчас невольно переменил позу на более скромную и тоже алкоголически-неучтиво уставился на нее. И несмотря на то, что какие-нибудь двадцать сантиметров только разделяли наши лица, казалось все же, что мы рассматривали друг друга издалека, ну хоть с разных сторон улицы, так что я раз на мгновение даже закрыл глаза, может быть, от утомления.

Новоприбывшая, кажется, чрезвычайно серьезно относилась к несчастному моему виду, что было справедливо, конечно, ибо под напускной иронией вторым характером каждого славянина, еще глубже, за печалью и за весельем, была все та же неизменная с гимназических лет, страшная, унижительная тоска; но о чем, ах, если бы знать, о чем: о жизни, нет не о жизни, о счастье, нет не о счастье, Бог с ним, со счастьем, о женщинах, «женщин настоящих нет», — думал я, о жалости, да, о жалости, которая есть жизнь, счастье и женщина, с которою лучше погибнуть, чем без нее победить.

Смутные глаза незнакомки не выражали ничего определенного, только была в них та серьезность, которая столь часто бывает у детей, затем, беззащитная, умирает под зловонным сахарийским дыханием иронии, а во взрослом возрасте является свидетельно мне становится дурно, чьи-то заботливые холодные руки вводят меня в ватерклозет и держат мою голову, в то время как я, содрогаясь, блюю с хриплым стоном; затем материнские руки эти, расстегнув мне ворот, деловито мочат под краном мою голову и, чистого и бледного, как проснувшегося эпилептика, снова вводят в круг, и снова бал летит с незабвенным звоном прекрасных слов, со стуком стаканов и падающих и с криками «Vive la Sainte Russie!» окончательно вышедшей из себя консьержки.

Вера-Тереза, ибо русская ее мать, вопреки отцу, втайне называла ее Верой, пила теперь и танцевала со всеми, на нее нашел теперь тот безудержный, беспричинный разгул,

безнадежный и добрый, который только и бывает у чистых душ; она чокалась, прикрикивала, командовала развлеченьями, соглашалась целоваться; она то скакала, опрокидывая табуреты, то пела что-то на неведомом языке, то утешала кого-нибудь, то била кого-нибудь, ибо все рвались к ней, как к Сольвейг, спустившейся с гор, подземные гномы, не знающие солнечного пути; и даже женщины на нее не сердились – «девочка, сушая девочка, сколько лет вам, Ингрид?» (почему Ингрид?) – Двенадцать, – говорила она и смеялась, закидывая волосы назад и дивно щуря свои туманные глаза. И все пило, пело, дралось и плакало, и полная до края чаша бала кипела и проливалась рвотой, как сердце танцоров, готовое разорваться от усталости; но что-то случилось с Верой, и вся зала вдруг протрезвела и приумолкла.

Ингрид, о чем смеешься ты? Ты танцевала со всеми и всех целовала; о, Ингрид, что значит такое веселье? Не то ли, что скоро нам будет, как прежде, в снегу без надежды, во тьме без любви. О, Сольвейг, ты к узкой и слабой груди прижимала случайного друга, что выюга отнимет, что минет, как выюга. О, Ингрид, о, Сольвейг, о, Вера, Тереза, весна!

Голос из музыки: О, Ингрид, чему веселишься ты? Или солнце взошло? Как в новой церкви, где еще пахнет краской. А там, за стеною, Ингрид, что там, за стеною?

Вера: Сумрак бежит от очей. Мчится сиянье свечей. Все нежно, все неизбежно. Смейся, пустыня лучей. Песок кру-

жится, несется снег, и тень ложится на краткий век. Кто там говорит на балконе? Цветы уходят в свои лучи. Нам не нужно ни счастья, ни веры.

Голос из музыки (*слабея*): Ингрид, Ингрид, где мир твой, где свет твой?

Вера: Нам не нужно ни счастья, ни веры. Мы горим в преисподнем огне. День последний, холодный и серый, скоро встанет в разбитом окне. (*Кричит.*) Закройте окна! Забудьте детство!

Аполлон Безобразов: Полно, Вера, никто не стоит на балконе, и окна закрыты. Смотрите, и музыка прекратилась.

Вера: Нет, музыка не прекратилась, она только остановилась и ждет, чтобы он ушел.

Аполлон Безобразов: Полноте, Вера, нет ни балкона, ни музыки, ни меня, ни вас. Есть только солнце судьбы в ледяной воде и световые разводы в ней. Знаете ли, такие разноцветные разводы, которые бывают в утомленных глазах, долго склоненных над книгой. Вы слышите?

Грешники: Нет, мы ничего не слышим.

Аполлон Безобразов: А я слышу. Это тихо смеются, доходя до поверхности, исчезая, смеются солнечные разводы дней. (*Все тише и тише.*) Разлетаются птицы веков, рассыпаются атомы тел. Только зачем вам знать все это? Знать — это значит умереть.

Тихо звезды пролетают сквозь зал. Несомые музыкой, которая то отдаляется, то приближается, которая осыпает си-

рени над пещерою со скелетом, читающим книгу. Отчетливо и отдаленно напевая то далеко, то близко, проходит Ингрид по сферам и временам.

Ингрид, вернись. За высокою белой стеною колокол тихо мечтает в святой синеве, и тихонько слетают, наскучась своей вышиною, золотистые листья к холодной и твердой земле. Ингрид, венчанье в соборе, все святые и ангелы в сборе, все святые и ангелы боли ждут тебя в поле.

Вера: Звуки рождаются в мире, в бездну их солнце несет. Здесь в одеянии пыли музыка смерти живет. Кто их разбудит, кто их погубит. С ними уйду, с ними умру.

Голос с балкона: Ингрид, Ингрид, церковные двери закрываются.

## На рассвете

И снова бал продолжался, ибо все продолжается на свете и, откуда ни начни рассказывать, всегда середина, а не начало, уже сложившиеся люди, запутанные сложные отношения, но на вечеринке алкоголь развязывает языки и драматизирует события. В сущности, никто даже не подумал, откуда взялась Тереза, русская девушка с французским именем, и кто ее пригласил. В пьяном шуме она была уже своим человеком, как будто мы знали ее уже давно, ибо ее молодость встретила с нашей молодостью на каком-то распутье, где впервые мы почувствовали себя одни в жизни, одни перед

жизнью, и первым нашим движением было вместе спрятаться куда-нибудь от отвращения.

Измученная и отсутствующая, сперва она в опустевшее сердце как будто приняла все происходящее, настигнутая товарищами Топоркова и окруженная ими, сразу отвечала на все вопросы, шутила и пила сразу со всеми. Что-то отчаянное и неиспорченное, решительное до наивности было в ее – сразу из одной крайности в другую перешедшем – настроении. Выпив, Тереза ушла танцевать. Охмелев, чуть не со всеми, шутя, пьет на брудершафт и целуется, только как-то так по-детски, сама щеку подставляет, так что почти всем с нею целоваться совестно. Смеется со всеми, сразу отвечает всем, и кажется, что вот сейчас под ее предводительством бал, как метель, вырвется куда-то и никогда не остановится и, вечно звеня и сияя, осыпаясь, расточаясь и ширясь, как обезумевшая комета с огромным хвостом, полным роз и привидений, будет вечно носиться среди высоких времен. Но нет, как этого и ожидал Безобразов, все последние минуты держась около нее, что-то на середине возгласа готовое разрешиться во что-то иное, навек прекрасное, но нестерпимое вовсе, ломается вдруг, и возглас, начатый радостно, кончается такой невыразимой тоской, что все останавливаются, невольно смущенные. Несколько секунд Тереза стоит в классической позе Антигоны, высоко закинув голову, зажмурив глаза и крепко сжав губы, углы которых даже в улыбке как-то странно опускаются у нее книзу, и вдруг валится. Да, падает.

Но не в обморок, ибо обмороков у честных людей не бывает, а так, на колени, без сил и смертельно пьяная, дошедшая до предела опустошения, до края крика, до границы мучительной, как нож, веселости. Тереза валится на колени, но с неожиданным трезвым проворством Аполлон Безобразов подымает ее с земли и, окруженный ошалелыми, советующими, икающими и кричащими наперебой, несет ее, не сгибаясь, но находчиво, в небольшую отдельную комнатку для натурщиц, откуда с сумасшедшим видом, не зная куда деть руки, вылетают двое потревоженных молодых людей. Спотыкаясь в темноте о какие-то бутылки, но не потеряв равновесия, он опускает ее на диван и подает лимон, неведомо откуда (вероятно, прямо из преисподней) взявшийся. Тереза закусывает лимон и, лежа на спине, поворачивает голову к стенке, но так быстро, что все с повинною головой выходят из комнаты, в то время как, вытесняя это происшествие, на другом конце залы разгорается другое представление и слышится частый и отрывистый характерный стук сжатого кулака по лицевым костям, треск разрываемой материи, шумное паденье каких-то стульев и дикий пьяный женский визг:

– Да разнимите же их, да разнимите же их, чего вы смотрите!

Деморализованные безнадежностью, отвлеченные новыми происшествиями словопретели, бражники и танцоры покинули Терезу в темной раздевальне, и кто-то, под предлогом утешения, уже намеревался пристроиться к ней и некро-



филитически развлечься, но, вдруг схваченный за шиворот и изверженный прочь, не мог даже определить потом – кем и за что. Долго Тереза лежала в темноте, с каким-то даже удивлением прислушиваясь к странно затихшему шуму граммофона. Иногда лишь голос один раздавался громче и взрыв отдаленного смеха, ибо бал, несмотря на многолюдство, занимал лишь незначительную часть помещения и от раздевальни до места оргий нужно было пройти длинный пустой коридор.

Нечистая сила, удобно устроившись на подоконнике, спокойно сторожила ее пробуждение. Наконец, Тереза приподнялась, провела рукой по лицу и губам, как будто стирая что-то, и со всклокоченными волосами попробовала встать, а так как нечистая сила не находила основания вмешиваться, опять в изнеможении опустилась на продавленный диван. Посидев некоторое количество времени с низко опущенной головой, она вдруг как-то разом встала и, хотя покачнувшись и вытянув вперед руку, пошла к двери. Вход в академию был настежь открыт, она постояла еще на пороге, колеблясь, не вернуться ли к свету и шуму, но мгновенное, счастливое и смутное, видимо, прошло уже, и так бесследно, что она и не помнила почти происшедшего. И только когда неровные ее шаги стали уже отдаляться по тротуару, когда стук их был почти неслышен, нечистая сила покинула окно и, как тень, двинулась вослед свету. На площади Saint Sulpice Тереза зачем-то обошла вокруг фонтана и остановилась, всматриваясь в циферблат часов на здании мэрии.

Летнее небо уже голубело в сторону Сены, и синева его широким и тихим потоком разливалась по до блеска нака- танному асфальту, и явственно в тишине соловьи воркова- ли в саду семинарии иезуитов. Иногда, стремительно шур- ша, вдали проносился автомобиль, яростно трубя в деше- вый рог свой, но вот уже гудки смолкали в отдалении, и мед- ленно гасли над башнями собора последние звезды. Помед- лив, Тереза прошла rue Bonaparte<sup>24</sup>, вышла к St-Germain de Pres<sup>25</sup>, прошла по широкому и пустому бульвару, где вдруг разом, с феерическим каким-то согласием, погасли все фо- нари, обогнула зачем-то Cafe des Deux Magots<sup>26</sup>, помедлила около impasse des Deux Anges<sup>27</sup>, мимо закрытого ресторана вышла на rue Jacob<sup>28</sup> и между высокими домами, черными еще на голубом уже небе, пошла в сторону rue des Saints- Peres<sup>29</sup>. Видимо, в бесцельном путешествии нравились ей та- кие именно высокие и узкие улицы, но по тому, что она ча- сто шла посередине мостовой, описывала странные зигзаги и даже опиралась на выступы окон, видно было, как силь- но она была пьяна. Когда Тереза останавливалась, Аполлон Безобразов останавливался тоже и, подперши ладонью ще-

---

<sup>24</sup> Улица Бонапарта (*фр.*).

<sup>25</sup> Сен-Жермен де Пре (*фр.*).

<sup>26</sup> Кафе де Де Маго (двух Маго) (*фр.*).

<sup>27</sup> Тупик Двух Ангелов (*фр.*).

<sup>28</sup> Улица Жакоб (*фр.*).

<sup>29</sup> Улица Сен-Пер (*фр.*).

ку, смотрел на нее издали; и вдруг посередине мостовой, как раз на углу rue des Saints-Peres, она упала, как сноп, на асфальт, и не успел Аполлон Безобразов выйти из неподвижности, как что-то высокое и черное налетело со стороны набережной, повернулось вокруг себя, скользнуло с размаху на остановленных колесах, с треском влетело задом в витрину кафе и, помедлив немного, само рухнуло набок. Сразу слышались крики, в узкой улице открылось несколько окон, но когда шоферы вылезли, наконец, из перевернутого фургона, на мостовой уже никого не было, ибо, в то время как со всех сторон спешили любопытные, Аполлон Безобразов успел за суматохой поднять Терезу с земли и тотчас же занести ее в узкую, как тень, улицу, где скоро свистки полицейских замолкли в отдалении.

Тереза все еще не приходила в себя, и нужно было железную спортивную выдержку Аполлона Безобразова, чтобы нести ее так долго. Был уже яркий день, когда она очнулась на руках у него около Place Maubert<sup>30</sup>, но пробуждение ее было гораздо более похоже на бред, чем на бодрствование, и, видимо, ничего не сознавая, она поднялась по rue de la Montagne Sainte-Genevieve<sup>31</sup>, вошла в узкий дом на Place de l'Ecole Polytechnique<sup>32</sup> и вдруг опять заснула на лестнице.

---

<sup>30</sup> Площадь Мобер (*фр.*).

<sup>31</sup> Улица Горы Сент-Женевьевы (*фр.*).

<sup>32</sup> Площадь Высшей политехнической школы (*фр.*).

Сердце Аполлона Безобразова мучительно билось от напряжения; с красными кругами перед глазами, но все же верно ориентируясь в знакомых потемках, пройдя длинный коридор, он внес ее в комнату с окном на потолке и, сам изнемогши, уткнулся лицом в подушку, но вскоре, отдышавшись, удобно устроил Терезу на кровати; сняв с нее шубу и туфли и шубой накрыв ее, принялся разжигать спиртовку. Затем, нагрев воды, он начисто вымылся и выбрился и, легши рядом с Терезой, совершенно не обращая на нее внимания, заснул богатырским сном без сновидений.

Утро наступало. Яркая лампа потухла, уступив широкому, чуть видному еще синему пробуждению стеклянного потолка. Многие спали уже, многие уехали давно, многие поссорились и разговорились, может быть, кому-нибудь показалось, что он уже доказал существование Великого Архитектора; но еще больше полюбили за эту ночь, а теперь под бледно-синим куполом, медленно настигаемые трезвостью и разлукой, они танцевали, близко обнявшись, последний свой бостон.

Да, пожалуйста, не меняйте пластинку, пусть еще покружится та, что сумела свести счастье на землю, болью очаровать, та, под которую родилась пьяная, краткая, пронзительно нежная любовь на балу.

Новые сумерки, углы комнаты еще погружены во мрак, там спят убитые алкоголем и шепчутся вечно бодрствующие

развратники, а здесь, посреди зала, медленно выплывая из мрака, медленно возникая в голубом, в последний раз танцуют влюбленные, готовые уже расстаться. Танцуют и целуются, потому что еще день не настал, и еще разрешаются сны, и еще прощаются поцелуи. И снова кружится черный диск, полный хриплых звуковых асимптот, на минуту сведший огонь на землю. О, утро, как можешь ты наставить, разве ты не знаешь, как они безобразны при свете дневном, что воротники их смяты, руки грязны, щеки ввалились от утомления и заросли бородой. О, утро, помедли, пусть еще продлится эта щемящая музыка перед разездом, замершая на одной ноте, невыносимо печальной, но еще поющей и поющей, но уже готовой оборваться. Боже мой, как скоро летом день настает, а вот уже светло совсем, и ясно видны и усталые лица мужей, и измученные лица очнувшихся женщин. И к чему уже танцевать, и не стыдны ли в ярком свете дня эти таинственные телодвижения, столь отчетливо нечто напоминающие... Наконец, пошумев еще в последний раз в пустоте, граммофон издает странный измученный рев на исходе завода и останавливается. Но нет, есть еще порох в шоферских пороховницах.

– Костя, кататься! Костя, поедem в лес!

– Ну, что ж, поедem, пропадай все!

И вот уже опять все ожили, многие даже проснулись. Измученные лица опять оживились отблеском необычайной, ненормальной жизни.

– Сколько вас есть? Полезайте все!

И вот все взгромоздились, захватили последнюю недопитую бутылку отравы и уже – крути, Гаврила, лети кибитка, скачи напропалую, незабвенная парижская Россия.

Лети, кибитка удалая. Шофер поет на облучке, уж летней свежестью блистает пустой бульвар, сходя к реке. Ах, лети, лети, шоферская конница, рано на рассвете, когда так ярки и чисты улицы, когда сердце так молодо и весело, хотя и на самой границе тоски и изнеможения.

Эх, лети, лети, эмигрантская кибитка, заворачивай на всем скаку, далеко занося задние колеса, с адским шумом взлетай на подъемы и со свистом, на одних тормозах, стремительно несись под гору. А что, если тормоза оборвутся, что тогда? Тогда плачь, страховое общество, красной рожей ударяйся, клиент, в небьющееся стекло, и крепкая душенька лети на родную сторону высоко-далеко, через Германию и Прибалтийские страны, и без всякой визы. А пока визжите, подшипники, стучите, стекла на булыжной мостовой, а ты, гудок, жестяная собачка, лай на здоровье на кого ни попадя.

Все равно верна татуированная шоферская рука, и у самой бабушки, поцеловавшей асфальт, или даже у самой заблудшей кошки мигом свернутся колеса-самокаты до зеленого дерева, то-то звону и треску будет, до больничной койки, до басурманского кладбища у окружной дороги, где день и ночь, пыхтя, паровозики несутся по железному кругу, не покидая его, как и душенька твоя-самокатка, по вонючему

Парижу тысячи и тысячи верст.

А пока стоптанный ботинок, как доброго коня казацкий шенкель, жмет грибастый акселератор и весело покачивается тросточка скоростей, извлекая из недр железного коня дикое металлическое ржание переключаемых шестерен.

Пока не подколоты шины и враждебный песок не течет самотеком погубить цилиндры-самопалы. Лети, лети, шоферская тройка, по асфальтовой степи парижской России, где, узко сузив поганые свои гляделки, высматривает тебя печенег-контравансионщик, а толстый клиент-перепелка все норовит пешедралом на поганных своих крылышках-полуботинках, и хам-частник (попадись мне на правую сторону) прет себе, непроспавшись, перед раболепными половцами.

Эх, лети, железный горбунок, воистину, дым из ноздрей, на резиновых подковках, напившись бензину, маслом подмазанный, ветром подбитый, солнцем палимый.

Эх, яблочко, куда котишься,  
В Sens Unique<sup>33</sup> попадешь.  
Не воротишься.

Быстро, как пьяное счастье по пустыне жизни, по утренним улицам, быстро, как песня цыганская, как пуля английская, как доля пропадающая.

И вот уже набережные миновали, вырвались на бульвары,

---

<sup>33</sup> Одностороннее движение (*фр.*).

мгновенным зигзагом миновали грузовик с морковью, пронесли колесом по тротуару мимо растерявшегося велосипедиста и под адский свист, не останавливаясь, а заставив их в ужасе шарахнуть прочь, и пусть не гонятся на своих велосипедах: все равно на такой скорости не различить номера, да и что номер лихачу-пропойце, пропади совсем номера. А вот и Елисейские поля, где освещенные косым утренним солнцем верхние этажи домов кажутся сделанными из драгоценных розовых раковин и где сам Бог велит гвоздить акселератор по самую крышечку. У Триумфальной арки опять канарейка-свисток, да где там, кишка тонка, братишка.

Чуден утром Булонский заповедник, еще сумрачно под деревьями, где белеют сальные газеты, оставленные неистребимыми сатирами, где лоснится лиловая река асфальта, мимо пыльных озер с общедоступными лебедями и обветшалыми киосками, где Гамлет в восковом воротнике тщетно ждал Офелию-Альбертину.

Вот промелькнул белый заборчик стадиона Расинг-клуба, вот еще свисток, а здесь гони, железная тройка, догоняй утренний ветер, прошедший вечер, а вы, пьяные, кричите, и шуми ветер в ушах, трепи волосы, пока еще остались, ведь уже клонит ко сну, и горечь похмелья черным дымом встает в прекрасном розовом небе. И ты, танцор судьбы, не смотри на себя в узкое автомобильное зеркало, ни брату своему в грязное, заросшее лицо. Ибо мы сами знаем, как черны мы, как низки и слабы мы в нищем хмелю, но мы – все та



же Россия, Россия-дева, Россия-яблочко, Россия-молодость, Россия-весна. Это мы останемся, это мы вернемся, мы, нищие, молодые, добродушные, беззлобные братья собакам и машинам, друзья книг, и бульварных деревьев, и алых городских рассветов, только одним бездомным и ведомых.

Тем временем праздник погибал, при ярком дневном свете печальное зрелище предстояло очам. Наскоро умывшись, но все же обезображенные утомлением, еще вяло шутили те, кто не нашли в себе силы подняться и вырваться к встающему утру, к последней, уже нездоровой бодрости. Пошучивая, они пили кофе, принесенное из кафе, и со стаканом в руке склонялись к дивану.

Широкоскулый боксер сокрушенно прибирал ателье и сыпал опилки на рвотные пятна. Кто-то зачем-то еще раз завел граммофон, и грубо орало железное горло при ярком свете, резавшем глаза; скоро его остановили. Был воскресный день, и многие укладывались спать, снимая, наконец, натруженные ботинки, распуская давящие пояса. И все огромное ателье вскоре напомнило собою фантастическое поле сражения, где мертвые, раненые и победители вповалку легли среди опрокинутых бутылок, которые хозяин аккуратно составил в ряд и сосчитал тридцать пустых и шесть полных (деньжищи немалые), а сколько разлито было дорогого яду и возвращено природе.

Так минул бал, долгая жизнь, краткая ночь, пьяное счастье, трезвое горе униженных и оскорбленных алкоголем.

Как ярко освещенный поезд, промчался он сквозь снег минут, громко стуча музыкальной машиной, на многие годы отметив солнечную пустоту скоро летящего года, и в него, как малейшие подробности разлук, навсегда включены, вместе с высоким снежным образом Терезы, и шум блевотины, стремительно извергающейся в пролет лестницы на другого, блюющего этажом ниже, и стук удара сложенного кулака по лицевым костям осоловевшего, и пот на пальцах танцующих, и невидимый ангел на балконе, на которого с нелепым упорством указывала полудетская рука; все это, навек унесенное, запечатлено в яркой еще, но быстро блекнущей музыкальной ткани незабвенной «Леопог'ы», медленного слюфоксатой ночи, того года, той, уже миновавшей, жизни.

Как яркий отблеск неземного воодушевления, словесного парения, спортивного напряжения, эротического возбуждения, запахового явления шумного, яркого, краткого прошлого, на миг незабвенного, дивно смиренного, и нет хулы во мне на твое антиморальное разгорячение.

О, оргическое действо слабых и добрых; и все прощено, ибо дивно грустен был ты.

# Глава V

*Oisivejeunesse  
A tout asservie  
Pardehcatesse  
J'ai perdu ma vie*

*Arthur Rimbaud*<sup>34</sup>

Высоко над озером восходит белая дорога. С одной ее стороны скала, взорванная динамитом, уже начала зарастать орешником, покрываться цветами. Другая сторона укреплена на отвесе подобием крепостного сооружения. Все выше и выше, равномерными поворотами мимо маленьких горных церквей с низкими колоколенками, не превышающими покатых деревенских крыш, укрепленных камнями от ураганов, равномерными петлями все выше и выше, туда, откуда, стремительно курлыкая, несется поток, закрытый кустами и только изредка, на открытом месте, низвергающийся тонкой полоской водопада. Впрочем, падая, холодная вода, проходя по чисто крашеному желобу, вертит несложную горную турбину, и медные нити доходят и до беднейших деревушек, но еще выше, там и сама дорога хуже мощена и все чаще

---

<sup>34</sup> Юность праздная.Всему послушная.Себя сгубил я.Привередничая.Артю  
Рембо (фр.).

размываема непокорными потоками. А по сторонам ее, указывая близость снега, во все стороны расходятся ровные поля нарциссов, там на грани лазури и ангельского государства стоял монастырь, где Вера-Тереза фон Блиценштиф училась под добродушным и сварливым надзором сестер, шедевров опрятности и крахмальной архитектуры.

Но сердце вовсе не замирало, когда со скалистой террасы, прикрыв ладонью глаза, дети следили, не идет ли пароход со стороны Женевы, ибо все привыкли к высоте, все внизу казалось не далеким, а просто маленьким, игрушечным, так и взял бы в руки и чистый, как белый карандашик, мол в Лозанне, собор – пресс-папье, Шильонский замок – сахарницу, и множество домиков-коробочек, и даже деревья и павильоны на набережной; все, точно видимое в бинокль, не голубело вовсе, а отчетливо отделялось сахарными кубиками у сине-зеленой воды, холодной и глубокой, которая посредине была перерезана желтоватой, скоро бледневшей полосой; на той стороне все так же игрушечные, из-за полного отсутствия тумана, виднелись высокие желтые горы без снега, особенно одна, острая, раньше всего загоравшаяся задолго до первой обедни. Далеко направо горы становились ниже, там была Франция, налево же и за спиною ярко-ярко и близко-близко, почти как предметы в комнате, горели снежные недостижимые громады итальянских Альп, до которых, иди не иди хоть год, никогда не приблизишься.

Но часто монастырь окутывали облака; тогда исчезали не

только городки с их рядами белых корабликов, но и все озеро до последней синей капли, но даже и вершины близлежащих гор Ouchy et Glion, куда по тонкой ниточке цепного пути медленно ползла коробочка фуникулера. Все тогда было серо, все звуки долетали глуше, коровы мычали где-то в большом отдалении, и отходящий человек быстро бледнел и таял в воздухе. Только это было редко, чаще небо было сине-сине до черноты, и сад, раскаленный солнцем, тяжело благоухал магнолиями, которые широкими белыми цветами лишь в середине лета распускались при рождении длинных, всегда блестящих листьев, ибо ни малейшей пыли не было в солнечном луче, заливавшем красные кирпичи пола в келейке и розовым отблеском озарявшем белые, чисто крашенные стены, над которыми у потолка шла толстая сосновая балка. На окне между цветами ходили прирученные голуби, и часто даже наглые куры влезали в комнату, сперва с клохтанием потоптавшись на подоконнике, вытягивая шеи, исследуя, наконец, решительно шлепая лапками, влезали на стол; пойманные, они дико били крыльями и орали, хотя Тереза только погладить их тщила, а потом, подкинув их в воздух, научить летать, в чем они не делали вовсе успехов.

Воспитанниц в горном монастыре было всего девять девочек, но шестеро из них, только по слабости здоровья помещенные так высоко, уезжали на целое лето, и только Тереза и две бедные девочки-сироты, помогавшие на кухне, прово-

дили безвыездно лето в Saint-Morancy<sup>35</sup>.

Вера-Тереза фон Блиценштиф, как спорная драгоценность, опечатанная судом, как разоренное имение под запретом, была, сама того не ведая, предметом долгих судебных раздоров между родителями. Ее мать, толстая скромная женщина с плоской прической и голубыми болезненными глазами, была русская немка из остзейских дворян. Отец ее, уже несколько лет находившийся на излечении в нервной санатории, был французский аристократ из Лотарингии, высокий черный человек с обличем палача, автор многотомного сочинения о демонологии, имевший некоторую известность в католических журналах за страстную свою проповедь восстановления церковного суда и апологию худших жестокостей инквизиции.

Родилась Тереза в Barle Roy<sup>36</sup>, на Мозеле, в большом каменном доме на окраине города, жизнь которого, некогда бившая через край до флигелей и пристроек, в то время, в начале века, сжалась до одного этажа, до четырех комнат одного этажа. Впрочем, в доме имелась пятая, еще не заколоченная комната – часовня, ибо род Блиценштиф, из которого вышел святой Стефан Ангулемский, был фанатически религиозен, до того, что встречал нарекания даже у местного духовенства.

В действительности, старый граф был даже не пуританин,

---

<sup>35</sup> Сен-Моранси (фр.).

<sup>36</sup> Бар-ле-Руа (фр.).

а истинный кальвинист. Для него все христианство сосредоточивалось вокруг идеи возмездия человечеству, коллективно, вне времени оскорбившему Создателя.

«Иисус будет в агонии до конца мира» – и за это человек наследовал два ада, переливающиеся один в другой: ад моральный, носимый каждым в сердце своем от юных дней, и ад огненный, в который через краткий срок выливается первый, как масло в жаровню.

Он не признавал даже законности существования уголовного суда, ибо «мы все родились преступниками, и все в сердце своем смертоубийцы, – доказывал он. – И каждый из нас мистически вне времени виновен во всех преступлениях мира, но продолжает совершать их».

Он говорил подобные фразы, закрывая глаза, с выражением непоколебимого упорства властной своей породы, и толстый скептический священник, его собеседник, с огорчением поджимал губы, как снисходительный доктор перед рецидивирующим сумасшедшим.

Но он не боялся грядущего огня, он жаждал его всем сердцем. «Я жажду возмездия», – говорил он. Он наслаждался физическим мучением своих долгих молитв и среди ночи безжалостно будил детей для ночной обедни, ибо написано, что от двух до трех самое страшное время на земле. Молящийся сопровождает Иисуса в преисподнюю и к утру помогает Ему воскресать.

Считая, что дети несут в себе уже полный, готовый распу-

ститься цветок зла, он необычайно сурово обращался с ними, прибегая к долгим телесным наказаниям, во время которых плакал. По его прихоти дом был почти весь заколочен и заперт, а в оставшихся четырех комнатах оставлена лишь необходимая мебель; не терпел он также на стенах, беленых известью, ни фотографий, почитаемых им за идолопоклонство, ни картин – грубого соблазна, по его мнению.

Но больше всего он ненавидел музыку, вероятно, потому, что, как и всем героическим натурам, она доставляла ему наибольшее наслаждение.

Он говорил, что гармония есть отравленный плод мирского возрождения, который при посредстве протестантского простодушия вызрел в церкви, и защищал унифоническое грегорианское пение армян и греков, подобное страшному реву средневекового человека в час солнечного затмения или накануне тысячного года, когда среди смрада открытых гробов, полных чумных бацилл, в темных доготических церквях он ждал неминуемого светопреставления.

Ровно в девять часов, после молитвы и короткого чтения вслух устрашающих текстов, во всем доме гасился свет, и окна и двери закрывались на засовы, и запрещались даже самые необходимые разговоры.

Нервная и слабая девочка до того боялась отца, что часто безо всякой причины, даже за обедом, у нее делались нервные тики и ночью конвульсии. Скоро она почти перестала спать, стала худеть, косить и кашлять.



И вот кроткая, молчаливая мать ее, до того безропотно сносившая все зловещие выдумки, вдруг вышла из себя, опрокинула Распятие, ударила мужа по лицу.

С тех пор жизнь в доме разделилась на две половины, застлалась, стала невыносимой.

Тогда старый граф начал молиться прямо на улице, собирая прохожих. Местные власти не смели тронуть его. Он произносил сумасшедшие восклицания, врывался в антиморальные дома, ночевал под открытым небом. Вскоре его опрокинул извозчик, которого он принял за всадника из Апокалипсиса, и так как, радуясь ранам, он срывал с себя повязки и пластыри, волей-неволей его заключили в больницу для душевнобольных. Физически неузнаваемым он вышел оттуда, но в очах его сияла столь страшная решимость, что, несмотря на его примерное поведение, мать Терезы покинула древний дом пыток и начала дело о разводе и изъятии детей из-под отчей опеки.

# Глава VI

*Pins un beau matin, sans qu'il s'y attend)! tout s'eclaira.*

*J.K.Huysmans*<sup>37</sup>

После обеда, во время которого сестра-послушница читала жизнь Катерины Сиенской, начиналось несложное, но прилежное учение: преподавались, главным образом, чистописание и арифметика, история Швейцарской конфедерации и рукоделие. Катехизис же и космографию читал аббат Гильденбрандт Ракрок, который был столько же учен, как сестры были просты.

Великие ложноклассики в курсе сестры Виктории читались с огромными пропусками, о Рабле и Монтене не упоминалось вовсе, зато Шатобриан был в высоком уважении и прямо следовал за Боссюэтом и Масильоном. Труден был вопрос о Руссо: несмотря на зажигательные идеи, он все же был швейцарским гражданином. Ксавье де Местром и Монталамбером заканчивался курс, других книг в монастырской библиотеке не было. Зато сестра Кларисса обширно читала историю.

---

<sup>37</sup> И в одно прекрасное утро все неожиданно прояснилось. *Ж. К. Гюисманс (фр.)*.

Чисто и дико текли детские дни, сестры учили их строго понемногу и немного времени, за малочисленностью; они были часто заняты по хозяйству и, нуждаясь, нанимались сиделками. Летом они варили варенье и сыр, собирали орехи и мяту, подоткнув юбки, окапывали огород или же с медным опрыскивателем за спиною стоически поливали каждый виноградный лист, борясь с филлоксерой. Они же доили и чистили коз, косили луг и даже красили монастырские постройки, как и все крестьяне, понемногу знавшие все ремесла. Субсидий монастырь не получал никаких.

Весною с раннего утра прямо из церкви дети уходили через горные кручи к высоким лугам, где паслось муниципальное стадо, а иногда и ночевать оставались там у пастухов, и не раз Тереза доходила до вечного снега. Тающий и почерневший на краю, он образовывал гроты и впадины, откуда вытекали холодные ручьи, в которые больно было окунуть руку; тихо журчали они в альпийской тишине. Иногда глухо, как будто деревянный, постукивал колокол на шее разлазившейся телки, ибо коровы, неведомо как, часто оказывались на таких кручах, что их приходилось выручать веревками; и только кузнечики, как немолчный хор, треском своим наполняли воздух, и казалось, что это сам теплый воздух неподвижно кипит на солнце; и дивно тихо было кругом.

В каком-то нежном удивлении, как будто думая сосредоточенно о чем-то, ребенок слушал тихие и немолчные голоса насекомых, сквозь которые отчетливо и медленно, как синяя

полоса, проплывало временами мычание; озеро внизу окутывалось голубизною, туда многими уступами вели леса и долины, каждый из коих был огромной недосыгаемой горой.

Монастырь был невидим отсюда, зато странно близко и ослепительно бело на солнце сияли снежные вершины, малейшие подробности снежной скульптуры были видны на них. Это были то косые стены, похожие на застывшие стилизованные волны, то снеговые завитки и целые ледопады, очертания которых летом все же слегка округлялись. Тени на снегу были ярко-синие и фиолетовые, а рано утром никакими словами нельзя было передать розоватого торжества золотого сновидения вечных льдов, в то время как долины были погружены в темную ночь.

Тихо и странно бывало на закатах. Тогда серые долины светились серыми сумерками, полными вездесущих отсветов, и все ручьи, все лужи и болотца отражали высокие, яркие, желто-алые снежные миры, в то время как близкий лес уже был черен вовсе и в торжественный этот час полон страшных невидимых присутствий.

Долго-долго любила Тереза наблюдать за далеко разбредшимся стадом. Вдали перекликались рога пастухов, еле слышно свистела железная дорога, и когда краткий выстрел длительно перекачивался по лесистым отрогам, тогда сердце Терезы сжималось, ибо она до того чувствовала глубокую, невыразимо благородную и нежную жизнь зверей, когда в тишине они прядали кожей, отмахивались хвостом или мед-

ленно, с шлепающим звуком, роняли жидковатый помет.

Сама мысль о насилии над этими добрыми молчаливыми богами казалась ей ужасной; до слез, до нареkania сестер гладила она теплую еще голову козочки, которая, варварски раскоряченная на палке и роняя на дорогу густые черноватые капли, все еще сохраняла удивленное грациозное выражение.

И раз она, наделав переполоху и почти оглохнув, разрядила два ружья, аккуратно оставленные в сенах. За это она была сечена и заперта в курятник учить какие-то стихи. Плача и обнимая обступивших ее кур, она твердила невразумительную и благозвучную тарабарщину и клялась когда-нибудь сбросить в поток все ружья.

Сестры же, наоборот, были страстными охотницами в душе, любили слушать рассказы и обсуждать ловитву и сами бы, если бы не пересуды, пустились бы по козьему следу, ибо охотники были героями деревни, хотя чаще всего это были самые неработающие и наглые мужики.

Но на каких только кручах и гранитных стенах, совершенно плоских – кажется, и мухе не зацепиться, – не путешествовали лопотальники; то обследовали ледниковые подземелья, то вброд переходили быстринные снеговые потоки, после которых ноги вообще теряли всякую чувствительность на время; и какие только пастушеские рассказы ни слушали они, стерегучи поспевающую среди углей картошку, о заколдованных зверях, стонавших человеческими голосами, о

горных невидимках, от которых трава начинала расти правильным темным кругом на более светлом лугу.

А главное, о горном водителе, молодом красивом оборотне, являющемся заблудшим путником, любезно указывая им дорогу или в пропасть, или в ледниковую долину, где под хрустальный звон воды и зеленое сияние солнца сквозь лед путник засыпал непробудным сном и сам становился блуждающим свободным горным огнем вроде тех, которые со всех сторон озера зажигались в ночь на Ивана Купала, в то время как дети долбили тыквы и арбузы, чтобы, зажегши свечу, ошеломить на дороге подвыпившего пастуха, ибо никто в эту ночь не разберет, какие огни – человеческие, а какие зажжены неведомо кем на уступах, где испокон веков не было жилья человека.

Любила девочка разговаривать с аббатом Ракроком; у него был низкий дом, построенный на самом откосе, с галерейкой, на которую не советывалось выходить слабонервному туристу. Все комнаты были заставлены глиняными и стеклянными сосудами, потолок увешан пучками сохнувших трав, а в высоких ретортах неустанно кипятилось нечто прямо дьяволическое. Дважды казенный доктор возбуждал преследование против него за незаконное занятие медициной, дважды дело прекращали за неимением свидетелей, ибо жители городка, почитавшие его почти за колдуна, и не думали расставаться со своим целителем.

В высоком резном деревянном кресле аббат читал книгу

в кожаном переплете, а Тереза старательно, желая доказать всю детскую силу, дергала веревку больших раздувальных мехов, приделанных к потолку; пристально смотря на нее и заложив книгу пальцем, аббат размышлял, абсолютно ее не видя.

Тогда девочка сама прерывала молчание, ибо только с ним она говорила о тех голосах, чистых и звонких, но совершенно невнятных, которые она слышала в шуме водопада или просто так, вдруг, посередине священного альпийского молчания.

– Понимаете, – говорила она ему, свободною рукою делая в воздухе пояснительные жесты, – это так: высоко вдруг раздается дружное пение и вопросительные голоса, ясно слышно каждое слово, но смысл всегда путается. После некоторого молчания совсем с другой стороны радостно-радостно, как запыхавшийся человек, отвечают иные, высокие, стеклянные, восклицания; опять все слышно, но ничего непонятно. Кроме, редко-редко, отдельных слов вроде: «la-haut, la-haut»<sup>38</sup> или «dans la plaine»<sup>39</sup>, и вдруг все хором, радостно, громко, но совсем близко: «Tu reviendras, tu reviendras»<sup>40</sup> и все тише, отдаляясь в бледно-синюю высь, как будто прощаясь, в хрустале замерзая и обещая вернуться. Тогда я плачу всегда.

---

<sup>38</sup> «Там, наверху» (фр.).

<sup>39</sup> «На равнине» (фр.).

<sup>40</sup> «Ты вернешься, вернешься» (фр.).

– Но почему? – с притворной строгостью спрашивал старик.

– Потому что я не знаю, когда они возвратятся, – говорила Тереза, для вразумительности тараща глаза и принимая самые неожиданные позы в неустанном своем маневрировании воздухопрогонного приспособления.

Вдруг сообразив, что ребенок очень устал, старик принимался сам за раздувание, поменявшись с ним местами; ребенок теперь спрашивал его, взгромоздясь на высокое жесткое кресло:

– Скажите, отец, разве ангелы несчастны?

– Нет, они счастливы.

– А звери становятся ангелами?

– Не знаю.

– Я люблю больше коров, чем ангелов.

– Почему?

– Потому что их едят мухи.

Аббат печально качает головою, смотря на Терезу с видом врача, угадывающего тлетворные признаки, затем он погружается в работу, раскладывает сушеные травы по банкам.

– Отец Гильденбрандт, к чему эта трава?

– Она против слепоты.

– А я хотела бы быть слепой.

– Почему, дурочка?

– Потому что камни слепы.

– Молчи, перепелка.



– Я не перепелка.

– А кто же ты?

– Я – Тереза, звезда преисподней.

Аббат гневно теребил ее за руку.

– Мне сказал это черный камень у круглой долины.

– А еще что?

– Больше ничего, а так: «Терезочка, звезда преисподней, открой мне очи». – «Я не могу». – «Тогда ослепни».

– Больше я тебя не пущу в горы.

– Нет, отец Гильденбрандт.

– Не пущу.

– А кто будет крестить камушки?

Рано утром, отстояв обедню в чистой, пахнувшей краской церкви, монастырские дети отпускались гулять до завтрака, после которого начинались классы. И на всю жизнь осталось у Терезы воспоминание о свежем запахе краски и ладана. Церковь в St-Morancy – древняя часовня, много лет в запустении служившая стойлом для коз, в те годы была только что реставрирована и, как свежая молодая ветвь на древнем стволе, вся благоухала свежей олифой и лаком.

Бессмертная, вечно возрождающаяся жизнь католицизма радовалась в ней безотчетно. Нет, не старая, огромная, средневековая была она, и не воспоминаньем о былой ритуальной славе наполнилась, а маленькая, вся начисто вымытая, с новыми, светлыми еще желтыми стульями, с новой церков-

ной утварью, новыми светло-розовыми лампадами, и даже медь подсвечников не успела почернеть.

Чисто раскрашенные статуи на фоне свежей стенной росписи купались в широких солнечных лучах, которые вливались через матовые стекла. И действительно, сколько нездорового эстетства в этом любовании церковной стариной. Религия нуждается в поддержке истории только в развращенных и неверующих умах, а для широколицых монашек, обутых в мужские гвоздистые башмаки, истинным наслаждением было каждую субботу утром начисто вымывать плиточный пол и кремово-желтые стены, начищать всякую медь, менять цветы, протирать стекла. Крепкие и добродушные крестьянские их руки, видимо, никогда не знали утомления. Между собою они быстро и весело переговаривались на непонятном местном говоре.

Старик-священник, местный целитель, вечно смешил их, щурясь в маленькие свои очки, и они просто, по-бабьему, отшучивались, отмахиваясь от него сразу обеими руками.

На богослужении они стояли ровно, спина к спине, как румяные солдаты в голубых мундирах с огромными белыми птицами на головах.

С годами деревня медленно теряла обитателей. Они приходили сюда только на летние месяцы, зиму старались проводить в более культурных условиях. Даже почта не доходила в St-Morancy в середине зимы, и Терезино любимое заня-

тие было, гуськом уместившись на салазках, лететь по снежной дороге, лихо поворачивая у самого края стремнины, за письмами в соседнюю деревушку. Возвращались дети медленно, они нарочно медлили, ссорились и менялись шариками, составлявшими заветное имущество одинаково мальчиков и девочек.

Дома (ибо, в сущности, монастырь был домом для всех восьми воспитанниц и десяти воспитательниц) монахини колотили их, растирали их замерзшие руки и усаживали всех за один стол за изучение истории Бернской конфедерации, полной несимпатичных австрийских герцогов и бородатых борцов за независимость, которых Тереза явственно представляла себе по раскрашенным картинкам, прилагавшимся к каждой шоколадной плитке. Впрочем, шоколадом детей не баловали. Вскоре одна из исследовательниц славной бернской старины мирно ложилась лицом на замусоленную страницу и, несмотря ни на какие хлопки и увещевания, не раскрывала уже вдруг окаменевших век; тогда сестра Гильдегарда легко брала ее на руки и водворяла в белую эмалированную постель, закрытую решетками.

Ночью Терезе снятся сны. Ей грезится, что полная луна ходит по комнате и тихим белым лицом своим заглядывает в кровати. Тереза прямо с кровати хочет вступить на луну, где серебряные горы четко вырезаются на черном звездном небе, а по горам ходит отец Гильденбрандт и разговаривает с кем-то, и ясно слышно, как из глубины долетают ответы. За-

тем снег скрипит у самого окна дортуара, кто-то долго стоит и смотрит в стекло. Это, верно, отец ее, он увеличивается, он сейчас войдет.

Она просыпается; луна покрылась тонкими серебряными облачками, похожими на прозрачных рыб. Тереза в одной рубашке садится на подоконник и долго смотрит, как в лунном луче ярко горят снежные кристаллы; наутро ее находят на притолоке. Целую неделю она остается без всякого варенья, даже и яблочного.

Осенью монастырь покрывали облака, иногда солнце светило над ними на мокрые золотистые заросли орешника, а совсем недалеко внизу, иногда даже ниже последней станции фуникулера, расстилалась волнистая белая пелена, как будто озеро вдруг как-то странно вскипело и, покрывшись пеной, выступило из берегов.

Но снова все окутывалось облаками, белыми и неосязаемыми, как призраки, и скоро уже сквозь них большими белыми хлопьями падал снег, которого за одну неделю накапливалось столько, что каждое утро деревянными лопатами раскапывался вход в церковь. Затем дорожка разметывалась, посыпалась желтым песком, и уже, поскрипывая и расточая клубы морозного пара, являлся закутанный аптекарь и, разогревая замерзшие руки у очага, где в медных кастрюлях вскипало козье молоко, поверх стеганого ватника и фуфаяк надевал кружевное облаченье; приготавливался идти в церковь, ярко освещенную солнцем, но холодную, как ледник.

Степенно, парами, отправлялись дети, закутанные в шарфы, переминались с ноги на ногу, но, однако, обедня ни на одно «Ave» не сокращалась от этого.

После обеда в большой учительской комнате с нескончаемо глубокими подоконниками, уставленными гиацинтами, старик, высоко подняв голову, четко читал католическую газету «La Croix»<sup>41</sup> и сестры говорили о политике, не переставая при этом с ритмичным проворством вязать.

Священник был радикал, сестры, мечтавшие о паломничестве в Рим, не разделяли его демократических идей; часто разговор приобретал несомненно еретическую протестантскую окраску, ибо сестры, теологически необразованные, жили оторванными от мира, а отец Гильденбрандт был настоящий алхимик и демонолог, до чего незаметно дошел от собирания лекарственных трав и чтения средневековых лечебников. Впрочем, ересь дальше добродушного отношения к чертям не шла, ибо все в деревне, несмотря на электрическое освещение, верили в горных духов, хохотунов и зачинщиков снежных обвалов, но также и спасителей детей на горных кручах. Направников полюбившихся им заблудившихся охотников.

В церкви все сразу дружно вставали в определенных местах или же опускались на колени тогда, когда небольшой орган под неловкими жесткими руками местного учителя издавал несложный героический рев, в то время как в камор-

---

<sup>41</sup> «Ля Круа» (фр.).

ке здоровенный крестьянский парень с молитвенным усердием месил ногами педали воздушного насоса. «Attention, pas si fort»<sup>42</sup>, – тихо говорил ему учитель, и снова из совместного усилия этих двух музыкальных деятелей воздух с прекрасным гармоническим ревом вылетал из цинковых труб, теснясь в маленьком храме и воодушевляя присутствующих, рвался к покатым сосновым склонам с такою простою и убедительною, не качественной, а количественной силой, что даже козы в саду подымали головы и вслушивались.

Кристалльно чисто звякал колокольчик перед даровозношением, белые ряды, заколыхавши накрахмаленными крыльями, склонялись к земле со вдруг затихшей и очистившейся мелодией, сквозь широкий солнечный луч, не замутненный пылью, поднимались витые голубые дымы ладана. И часто даже привычные монахини плакали. Хотя старик, сделавшись вдруг величественным, строго отчитывал их за это во время исповеди.

Все они были молодые крестьянские женщины, чаще всего вдовы или брошенные соблазненные работницы; вдруг сквозь чистую и здоровую их жизнь от этой грубой и высокой музыки проносилась волна щемящей жалости к их погубленному и забытому уже счастью, и священник, как хороший психолог, за простоватой своей внешностью деревенского шарлатана знал это. И, выходя, они становились еще добродушнее, толще, спокойнее; властно и просто они муштрова-

---

<sup>42</sup> «Осторожно, не дави так сильно» (*фр.*).

ли своих подчиненных, тоже все больше местных незаконно-рожденных детей, и к девочкам из города относились с равным заботливым деспотизмом, часто наказывали, даже били, но кормили и холили необыкновенно.

Так летели года, полные солнечной тишины, туманов или тишины снежной, тоже солнечной, но по-иному, ослепительной, торжественной. На этих высотах ветра не было никогда, и неподвижно, как очарованные, тонким узором своим удивляясь, стояли засыпанные снегом леса, чудом равновесия снег лежал на самых тонких веточках, сияя на солнце, и только птицы или белка вдруг отряхали его сухим облачком, и опять все было неподвижно в сложно-изукрашенных ветвях, которые от тяжести клонятся до земли.

Тереза на лыжах бежит сквозь очарованный лес. Низкое розовое солнце только что встало, и тонкие его лучи протянулись сквозь заросли, изукрасив алмазами хвойные лапы и лапочки. Тереза на лыжах, красиво и привычно волоча ноги, везет отцу Гильденбрандту записку и беспокойство сестер, и вдруг на повороте Тереза, составив копытца и присев, летит, морозя свой нос, под гору, но не страшит ее крутой заворот. Тереза с разбегу воткнула две лыжные палки, в воздухе перевернулась, подняв снеговую бурю, и вот она уже за поворотом, прошмыгнула мимо кондитерской, лихо подлетела к домику над отвесом. Отряхавшись от снега, Тереза входит в прихожую и вот уже, болтая и обжигаясь, пьет горячее молоко. Отец Гильденбрандт болен, он лежит на высоком одре сво-

ем одетый и нанизывает сухие грибы на веревочку. Огромный кот смотрит на него желтым своим глазом и щурится на солнце, а у постели на скамейке сидят рядом крестьянские ребятишки и громко повторяют за отцом Гильденбрандтом «Святейший отец папа избирается конклавом, состоящим из двенадцати кардиналов».

С появлением Терезы урок прекращается, и дети, шумно стуча деревянными подошвами, бегут кутаться в бесконечные свои шарфы.

– Bonjour, Therese, ne fait-il-pastrop troid?

– Non, pere.

– Tu n'as pas le nez gele?

– Oui pere, le tout petit bout<sup>43</sup>.

И оба хохочут.

– Отец Гильденбрандт, почему мама всегда плачет, когда она приезжает?

– Потому что ты плохо учишься.

– Нет, отец, вы думаете, что я маленькая и ничего не понимаю. Она хотела бы жить здесь.

– Да кто же ей мешает, – говорит притворно старик.

– Vous savez bien, que papa ne le vent pas.

– Ton papa ne vent que devoir dans la religion.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> – Здравствуй, Тереза, не слишком ли холодно на улице?– Нет, батюшка.– А нос не замерз?– Только кончик (*фр.*).

<sup>44</sup> – Вы же знаете, что папа этого не желает.– Для твоего отца религия – это только долг (*фр.*).



Обратно Тереза идет медленно, о чем-то раздумывая и даже путаясь в лыжах, и уж снег становится совсем голубой и высоко-высоко лают собаки, когда она маленькими своими шагами добирается до монастыря. Там давно ее ждут и беспокоятся. Затормошенная, она молчит и наконец:

– Pere Hildenbrandt a dit qu'il est mal de voir dans la religion de la rigueur seulement<sup>45</sup>.

– О, этот отец Гильденбрандт со своими разговорами! Дойдет это все до Лозанны.

Ее быстро раздевают и гонят в класс.

Долгие недели солнце било, не смыкая мучительных глаз, кустарник почернел, высокие пастбища сгорели, у коров отнялось молоко. Высоко на горном уступе отец Гильденбрандт молился о ниспослании дождя, кропил раскаленный камень, шептал невнятно заклятия воздушным духам. Деревенские ребятишки серьезно пели писклявыми голосами, кажущимися тихими на открытом воздухе. Старики и старухи и обиженные Богом кретины стояли, потупив голову, изредка утираясь красными шейными платками. Более передовая часть деревни высмеивала то, что лозаннский социал-демократический листок называл «суеверными фарсами».

Но аббат Гильденбрандт был серьезен, все горцы верили в «горных человечков», в «одинокого путника» и в иную нежить. Еще два дня продолжало парить, но к вечеру второ-

---

<sup>45</sup> – Отец Гильденбрандт говорит, что нехорошо видеть в религии только строгость (*фр.*).

го дня со всех сторон озера начала приближаться воробьиная ночь. Со всех сторон зарницы загорались, и разом отражались в озере огромные черные силуэты. Настоящего грома еще не было, но отдаленный, как бы подземный гул нарастал непрерывно. Все замерло в деревне, собаки и люди притаились и, обливаясь потом, с тревогой смотрели на улицу. Аббат Гильденбрандт молился, с утра начались у него головокружения, и он посылал уже за Терезой, но Тереза была в Лозанне, она с матерью ела мороженое на набережной и с неизъяснимым страхом всматривалась в сумерки.

Легкая, чуть заметная рябь бежала по озеру, на тротуаре кружились обрывки бумаги, тревожно и поспешно где-то шумел опускаемый железный занавес. И вдруг над самой вершиной Pic du Midi<sup>46</sup> вырос и долго сиял, неестественно долго, высокий фиолетовый куст, «как будто толстые белые волосы встали дыбом», подумала Тереза, и четким треском ряд сухих громовых выстрелов проухал над озером, и опять все смолкло, и вдруг совсем с другой стороны, вернее, со всех сторон раздался долгий скрежещущий грохот, как будто огромный новый холст разрывался под титаническими руками. Вслед за тем страшный басовый удар задребезжал стеклами, и, о чудо, прямо напротив, у острова Руссо, зигзагами медленно спустился к воде ослепительный, как магний, белый шар. Коснувшись мачты небольшой рыбацкой шхуны, потанцевал немного и вдруг оглушительно разорвался, всю

---

<sup>46</sup> Пик дю Миди (фр.).

ее облив синими электрическими потоками, и мгновенно все это высушенное солнцем деревянное сооружение вспыхнуло со всех концов.

Гроза приостановилась на мгновение, и только были отчетливо слышны прокатывающиеся по горам слабые глухие выстрелы деревянных пушек, которыми виноделы пытались разогнать бурю. Но снова, и уже со всех сторон, падали молнии, и грохот носился и рокотал в ущельях, то как будто огромные железные листы сотрясались, то опять рвался холст, то лопалось что-то, и горы тяжело громыхали в ответ каждую секунду, молнии отражались в озере и белым светом озаряли кафе и суетню официантов, поспешно что-то вносивших с улицы. И вдруг Тереза слышит голос аббата:

– Therese, viens, je me'n vais<sup>47</sup>.

– Мама, – закричала она, – едем сейчас же наверх!

– Да что ты, детка, утонем мы, да и дорога не ходит.

– Мама, едем на извозчике!

– Куда там на извозчике!

Тереза хватает пальто и бросается к двери, мать догоняет ее, обе женщины борются, вмешиваются посторонние, все кричат и разьясняют. Обессиленная Тереза плачет, склонившись лицом на просиженный ресторанный диванчик.

– Il m'appelle, il me voit, il mourra sans confession!<sup>48</sup>

Все еще ни капли дождя не упало. А в St-Morancy молния

---

<sup>47</sup> – Тереза, поди ко мне, я умираю. (*фр.*)

<sup>48</sup> – Он зовет меня, он видит меня, он умрет, не исповедовавшись! (*фр.*)

разбила уже мачту внутреннего двигателя в саду мэрии и ветер сорвал несколько крыш. Под рев грозы аббат мечется на своем одре, вскрикивая и кусая простыню:

– Therese, Therese, tu me pardonneras...<sup>49</sup>

Держащие его с удивлением слушают странные речи и крепко держат его за руки.

– Marie, faut-il lui dire?

– Non, pere Hildenbrandt, Dieu lui dira, Lui-meme<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> – Тереза, Тереза, ты меня простишь? (*фр.*).

<sup>50</sup> – Мария, сказать ли ей? – Нет, отец Гильденбрандт, Бог сам скажет ей. (*фр.*).

## Глава VII

В монастыре, где молнией разбило голубятню, Тереза, лежа на плетеном шезлонге для чахоточных, слушала уроки катехизиса, применительные к конфирмации, которые быстрой скороговоркой произносил перед нею молодой бледный священник с худым лицом и вьющимися волосами. Она смотрела на него, не понимая, ибо все чаще теперь Тереза впадала в какие-то необъяснимые отсутствия, голос ее делался еле слышным, и она сама еле слышала, она присутствовала на земле, но пошевелить рукою казалось ей совершенно невозможным. Как она была далеко и счастлива в эти минуты, хотя чувствовала, что жизнь ее, как газ через форточку, быстро уходит куда-то; на ее место втекало что-то холодное, невыразимо прекрасное и легкое, как эфир. Иногда на единое мгновение она совсем теряла сознание и с открытыми глазами переходила во что-то такое нестерпимо счастливое, что, пробуждаясь от таких мгновений, она почти с изумлением озиралась, ибо ей казалось, что прошло необычайно много времени.

Хотя фраза, начатая аббатом перед восхищением ее, едва успевала кончиться и вода, проливаемая из глиняного кувшина в цветочные горшки сестры Клавдии, еще не успевала упасть на черную жирную землю – уже казалось ей: что-то огромное, бесконечно длительное произошло.

Это начиналось воспоминанием какой-нибудь маленькой и очень простой музыкальной фразы органа, и как бывает, когда от падения одной карты рушится, быстро передавая движение, сложнейшее карточное сооружение, так будто ряд дверей и стен открывались в глубине комнаты и нестерпимая волна счастья невыразимым потоком слез и света врывается в сердце. Она только успевала вскрикнуть или только схватиться рукою за шею, и миг все опять прекращалось.

Только молодой священник на минуту прекращал чтение и смотрел на нее пронзительным взглядом, полным невыразимого удивления и любопытства.

Роберт Лекорню был смолоду ревнителем католического учения. В этом волевом, худом и узкоплечем юноше так выражалась ненависть к отцу-протестанту, самодуру, сластолюбцу и экспортеру из Ларошели, презрение к скрытной провинции, где все, кроме публичных домов, закрывалось в десять часов вечера, недоброжелательство к мачехе, домашней портнихе.

Втайне Роберт писал стихи, увлекался Клоделем и через него узнал даже Лотреамона, за что чуть было не был исключен из семинарии. Читая Отцов, увлекся гностицизмом, занимаясь историей церкви, «открыл» Луази и Гегеля. В результате всяческих неприятностей очутился в Швейцарии, в горах, в деревушке, наедине с Терезой.

Тереза к священникам чувствовала нераздельное уваже-

ние, как будто они были статуями или картинами. На исповеди рассказала ему обо всем. Роберт слушал с готовностью молодого студента, впервые попавшего на эпидемию; ему казалось известным все это и описанным давно в книгах, и вот всецело и даже стремительно как-то принялся он за лечение от ереси со всем пылом мучительно скрытной от самого себя потаенной молодости.

Этот человек был полон идеями о новой, воинствующей, рационализованной и модернизированной церкви, его восхищали церковные сооружения из бетона в крайнем кубистическом стиле. Радио и пресса казались ему лучшими пропагандистами учения. Так сделался он первым спортсменом деревни, и в жизни забитых и диких местных мальчишек с его появлением началась новая эра. Его уроки катехизиса были набиты до духоты, ибо местные Томы Сойеры знали, что после уроков начнутся лагерные бойскаутские занятия и американские истории.

Зато старики были недовольны, и состав посетителей церкви заметно переменялся. Сочинен был даже донос по церковному начальству, но он ответил точной сравнительной справкой о посещаемости его общедоступных лекций и питейных домов, и местным церковным консерваторам осталось только сетовать о добрых средневековых временах отца Гильденбрандта.

Зато совершенно неутомим был Роберт в своих передвижениях; с раннего утра, на лыжах или на велосипеде, он по-

сещал самые отдаленные горные хутора, возобновил богослужение в нескольких заброшенных часовнях и ни одного умирающего даже среди снежной метели не оставлял без содействия.

Нищие и даже республиканский мэр были довольны им, вечным организатором спортивных пробегов, фейерверков и аэростатических подъемов, ибо он восстановил местную фанфару и вмешивался даже в дела пожарной команды.

Однако скандал, соблазн и ущерб рождался уже с самой неожиданной и, кажется, навеки благополучной стороны. Медленно, но неизбежно Роберт сосредоточивал свое внимание на исправлении Терезы.

Но как ни старалась она понять его ортодоксальную категорическую схему учения, как ни вникала она в смысл новейших полемических книг, почти совершенно ей непонятных, она изумляла его постоянно такими странными речами, что он спрашивал себя, в каких гностических *in folio*<sup>51</sup> набралась она такой крамолы.

– Скажите, отец Роберт, то, что женщины и мужчины вместе делают, разве это такое счастье?

Ошеломленный Роберт молчит.

– Но если вы говорите, что нужно давать людям счастье, значит, нужно всем мужчинам позволять делать это.

Возмущенный Роберт бросает книгу на стол и уходит. Тереза бежит за ним, но он грубо ее отталкивает, так, что она

---

<sup>51</sup> Фолианты (*фр.*).



падает на землю; с изумлением она, сидя на земле, смотрит ему вслед.

Одинокий, без шляпы, Роберт идет по горной дороге. Дивный воздух блестит над горами, все желтовато и облито теплым косым светом, травы жарко дышат, и в них спокойно и нежно тоскует иволга.

Еще давеча она отдала нищему деньги, собранные на новую крышу над сакристией, так что с жандармами пришлось возвращать их, и как отвратительно это было. Роберт страдальчески перекашивается и бьет зачем-то подобранной палкой по ни в чем не повинному кустарнику, из которого в ужасе выпархивает малиновка.

– Ну, а теперь эдакие цинизмы, да ведь она развратит здесь весь монастырь. Какое бесстыдство! – говорит он вслух и тихо, про себя: «Какая мучительная невинность!»

Ночью аббат не может заснуть. Дивный запах сохнувшего сена дышит ему в комнату, как теплая, чисто вымытая женщина, и вот он воображает всех монахинь в костюме Адама и бесчинство на алтаре, как в средневековых книгах, но Терезу почему-то среди них видит одетой. Что это за притча? Наконец, Роберт дремлет, не поняв, вернее, не сдавшись, не сознавшись самому себе.

Новые дни настали для Роберта. Роберт понял: Роберт пропал. В страхе прекращает он уроки, но, прекратив, тотчас же находит всякие мотивы для возобновления их: обра-

щение Терезы, подвиг добродетели, тайное девственное обожание. Ибо мысль о тайном девственном обожании уже, после недолгой борьбы, привилась у него в сердце. И вдруг: что значат эти постановления безграмотных синодов, ведь я богат; мгновенно самые нелепые надежды проносятся сквозь его сердце, но вновь дверь старательно придавливается, и, вытянув некрасивые руки старчески вдоль колен, он, прямо глядя сквозь круглые железные очки, отчеканивает урок; однако каждый день уроки затягиваются.

Ночью молодой священник ворочается на жестком ложе, потом, запалив керосиновую лампочку, он читает письма св. Терезы к Иоанну де ла Круа. Почему Терезы? Явно по созвучию имен... и вдруг находит разборчивым почерком, привыкшим писать аптекарские ярлыки, на полях замечания своего предшественника: «Сегодня она слышала высокую охоту, стеклянный шум путешествия лунных духов на кощунственное собирище, однако слов разобрать она не могла. Этот ребенок слишком талантлив, чтобы жить долго».

А дальше: «Лавины останавливаются, жители, неизвестные в крае, указывают дорогу, но не в овраг, как обычно, а подлинно к монастырю, лисицы, невиданные в горах еще дедами, выскакивая из-за кустов, отпугивают от ядовитых ягод, колокола сами приходят в движение, задачи по алгебре сами наутро оказываются решенными. Необъяснимые отсутствия, беспричинные слезы, а сколько еще скрывается тщательно медитаций, мгновенно появляющиеся и исчезающие

стигматы и вместе с тем голоса высокой охоты, страшные кощунственные вопросы, равнодушие к учению церкви. Что все это означает, если не невиданную игру света с тенью и кощунственное содействие великих врагов в угоду неразумному ребенку. Тогда как столько трудов, столько вызовов и приказаний не привели ни к чему и не увидевший даже хвостика ни единого духа погрузился в презрение к Создателю».

Роберт читает, неугомонные рассветные горланы ревут уже за деревянными ставнями, звенит колокольчик почтового автомобиля, и голубыми линиями на закрытой ставне обозначается день. Но что делать? Роберт бросается на колени, и это он, он мечтает о ее совращении, о преступлении обетов, о счастливой жизни среди магнолий Италии. Боже мой, Боже мой, как он наивен!

Боже, Боже, молчание. Забыв молитву, Роберт думает, не меняя положения, но какая будет ее жизнь, кто еще доказал, что это не истерия, самовнушение, нервная болезнь; да, он защитит ее, он спасет ее, – трясется он весь в возбуждении. Он защитит ее даже от Бога.

Петух громко поет в палисаднике, белый день просочился в комнату отовсюду, но что случилось с ним, он не совсем понимает; да, ранняя обедня, «низкая» немая месса, уж не опоздал ли он, опоздал делать – что? Защитить ее от Бога. «У, у, у!» – воет он, сидя на полу и терзая лицо свое.

Кротко раздается стук в толстую дверь.

– Господин аббат, уже пять часов, – говорит тихий голос

слепой старухи-гувернантки.

Наконец дверь открывается, и аббат, очнувшись, вскакивает с земли.

«Должно, молился всю ночь», – думает мадам Бригитта, притворно суетясь в комнате.

И снова в молчании, под шум теплого дождя, бьющего по новым стеклам, аббат механически шепчет молитвы, кланяется, приседает, поворачивается, возносит причастие, не замечая, что лицо его, небритое и вдруг пожелтевшее, выражает почти отвращение. Поднявшись с колен, сестра Вероника тихо говорит сестре Пруденсии:

– Eh bien, il ne se fait pas beau pour nous.

– Attends, il se ragera avant sa leçon<sup>52</sup>.

И обе, многозначительно выпятив губу, переглядываются. Бывают такие осенние дни: желтый лес стоит как бы зачарованный, боясь шелохнуться, чтобы не осыпать на землю яркое свое одеяние, прозрачно и чисто кругом, высокое небо сквозь просветы ветвей, бледное и голубое, кажется, говорит с нами; хочется лечь, запрокинувшись, долго слушать, закрыть глаза, умереть. Теплые камни поросли розовым тысячелетником, а между мертвых листьев и хвои важно путешествуют жуки с синеватым отливом; быстрые альпийские ручьи, прячась в зарослях, охлаждают воздух, и дивно слушать в такой день, как медленно и отчетливо из горного селения

---

<sup>52</sup> – А для нас он не прихорашивается. – Погоди, он будет бриться до наставления (*фр.*).

долетает звук колокола. «Баам» – лето прошло, «баам» – деревья устали, «баам-баам» – ложись, усни, смотри в высокое небо, думай о будущей жизни.

На высокой горной поляне, скрытые в тепло-желтое великолепье лиственниц, неведомо как забредшие на такую высоту, среди нагретых камней и хвои Тереза и Роберт отдыхают на половине перехода к часовне снегов, куда сестры, не без добродушного лукавства или просто как самых молодых, послали Роберта и Терезу обследовать, прибрать и запереть часовню перед зимними месяцами.

Сидя рядом, не слишком близко, но и не слишком далеко, они молчат, зачарованные всеобщим прощальным сиянием, всеобщим торжественным замиранием природы. Тереза следит за белками, высоко задирая голову и стремительно восклицая: «*Voyez, voyez, Robert*»; желая указать, где именно, она берет его за руку и его рукою неловко показывает в чашу, и Роберту кажется, что рука его коснулась священного неземного тепла; не могучи вынести прикосновения, он сам отнимает руку и поворачивает голову.

– *Voyez, voyez encore!* – восклицает Тереза, но, видя, что он не следит вовсе, она затихает и вопросительно-печально смотрит на него. Молчание. Наконец, Тереза серьезно, как только дети это умеют, спрашивает:

– Роберт, вы печальны в последнее время, что с вами, вы и бойскаутов своих забросили, и о зимних занятиях не думаете, что с вами, вы сердитесь, Роберт?

Роберт молчит; чем больше ему хочется говорить, тем больше ясна ему невозможность этого; он смотрит на нее вскользь, ложится навзничь и долго всматривается в голубое сиянье высот; потом вдруг сиянье это расплывается, и слезы теплыми струйками стекают по его щекам. Стараясь не выдать себя, он неловко трет глаза и только смущается, размазывает слезы и сморкается; тогда она обнимает его, как раненого солдата, и, поддерживая его голову и низко склоняясь к нему, тихонечко говорит:

– Voyons, Robert, qu'avez-vous, qu'avez-vous, suisje fautive de votre peine?<sup>53</sup>

– Нет, – отнекивается он. Потом, еле слышно: – Я – парий, я – священник.

– Вы – посвященный, вы – служитель Христа, – изумленно возражает она.

– Моя вера – это вы, – тихо, с закрытыми глазами, молвил он и в страхе еще крепче зажмурился.

Пораженная, она молчит и, забыв нелепость этого объяснения, низко склоняясь над ним, гладит лицо его соломенными своими волосами.

– Но почему вы плачете, если вы меня любите? Любить это ведь такое счастье.

– Ах, Тереза, любить это такая мука, мука, мука любить и расстаться такую осенью. Я уезжаю, Тереза.

– Но почему, Роберт? Я сделаюсь монахиней. Вы остане-

---

<sup>53</sup> – Скажите, что с вами, Роберт, разве я виновата в вашем горе? (*фр.*).

тесь здесь, и мы будем вечно видеться в церкви и в школе.

– Нет, Тереза, все уже смеются над нами, да и вы не любите меня.

– Да откуда вы взяли это?

Тогда он приподымается с безумной тревогой, крепко схватывает ее за плечи и, отстранив от себя, долго-долго всматривается ей в глаза, потом вдруг отпускает ее и, с размаху уткнувшись лицом в хвою, говорит, рыдая:

– Будь проклят Бог и святые, обманщики, обманщики.

– Опомнитесь! – в величайшем волнении восклицает Тереза. – Вспомните, что говорил Христос: любите друг друга. Если вы хотите делать то, что сестра Бригитта делает с садовником, то сделайте это; мне так приятно будет сделать вам хорошо.

В слезах Роберт ухмыляется горько:

– Я хотел бы, чтобы вы меня любили.

Ошеломленная Тереза молчит; белка, спустившись необычайно низко, садится против нее и наблюдает, притаившись за розовым, чистым гранитным валуном. Солнце, косыми своими лучами скользя по папоротнику, низко освещает поляну, слышнее шумит невидимый ключ, и неведомо откуда взявшаяся ворона срывается с ветки и, громко возглашая, пропадает вдаль. Буквально ничего, ничего не понимает она в жизни, и вот уже слезы, вовсе неутираемые, опять заливают его руки.

Роберт прекратил уроки с Терезой, он разорвал ее фотографию, он не пускает ее в дом. Ночью Роберт плачет о Терезе, он кощунствует и проклинает Бога и ангелов, мечтает о ее развращении и ясно понимает, что Тереза его не любит.

Поздняя ночь. Лежа у свечи, Роберт читает «Trinum Magicum» (Francfurti, 1629)<sup>54</sup>, найденное под половицами среди гильденбрандтова собрания примуаров и заклинаний. И чудовищная смесь словес, возгласов и веществ, необходимых для колдовского делания, переполняет его сердце горьким странным услаждением. «Mamma barbara nunquam mutaveris...»<sup>55</sup>

Роберт спит. Во сне он видит бога Бафомета с эректным пенисом, играющим на органе в церкви; голые монахини сладострастно месят раздувальные мехи. «Какая чепуха, – думает он во сне, – ведь Бога нет».

– А я есть, – пищит мышиный голос, или это пищит половица.

Роберт просыпается. Тонкая дудка пастуха раздирает воздух. Сегодня праздник, вечером, о мука, предстоит проповедь. Однако кощунственная мука оставила его. Горько-иронически он раскрывает требник.

В маленькой церкви тесно. Странное любопытство и некоторые слухи привлекли необычайное количество слушате-

---

<sup>54</sup> «Триптих магии» (Франкфурт, 1629) (лат.).

<sup>55</sup> «Никогда ты не изменишь варварские имена...» (лат.).



лей. С возвышения, комического в таком ярко крашенном и тесном помещении, Роберт говорит проповедь:

– Ничего не ищите, братья мои, нет смысла умножать книги – и постоянное размышление утомляет тело, и все есть суета, ибо поняли мы, что человек не может найти никакой причины всего, что творится под солнцем, и чем больше он будет трудиться, чтобы раскрыть это, тем меньше найдет он. Ибо видите, Экклезиаст-праведник погибает от своей праведности, а непутевый долго живет своими обманами...

И дальше в этом духе он говорил о суетности познания, подразумевая религию, но слушатели думали, что о грамоте речь. Вообще, крестьяне понимали мало, многим даже понравилось, а сестра Вероника сказала:

– Сегодня он был неинтересен.

– Ест, вероятно, мало, худой весь.

– Полноте, это все от книжек.

Затем сестры отправились в кладовую.

– Кто Ты, скажи, и Ты ли создал этот океан боли или в Тебе – свете – есть темное основание, природа Твоя, и Ты не всемогущ. Ты подчинен Року, Ты слаб. Ты нежен – Тебя не существует.

Или, не могучи создать Тебя, то, что всегда рвалось к Тебе, только в нас обессилев, в нас создало идею Твою, как обессилевший, умирающий только во сне видит победу. Тогда Ты прекрасен. Ты слаб. Ты нежен – Тебя не существует.

Или, превзойдя себя, она наделила нас таким возвышенным сердцем, такой идеей, которая сделала для нас невыносимым зрелище матери-природы. Но не все ли равно, мы ли сон Твой, оживший на мгновение, или Ты в нас есть мгновенно живущий, вовеки готовый рассеяться. Ты слаб. Ты нежен – Тебя не существует.

Роберт: Ты – дьявол. Ты хочешь обладать Терезой, заглушить раскаянья, преступить обеты.

Голос: Ты – дьявол. Ты хочешь разлучить любящих, вызвать сомнение, сковать живое дыханье земли.

Роберт: Ты – дьявол.

Голос: Ты – дьявол.

«Боже, Боже мой! – мечется измученный. – С любовью или против любви. Любите друг друга! Нет!»

С утра, вставши, Роберт кощунствует: «Бога или нет, или Он – жестокость». Кощунствует, а не глумится, потому что верует он.

Он глумится, мысленно перевирая службу, он делает частые ошибки.

– Какой у него бодрый вид, – говорит сестра Вероника.

Однако на следующий день она, хорошо знающая службу, дивится новизне латинского произношения, иногда ей кажется, что она слышит какую-то тарабарщину. Подымая чашу, Роберт говорит:

– *God est satanis escrementatis amor destructione*<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> – Бог – это разрушительная любовь экскрементов сатаны (*лат., искаж.*).

– Amen!<sup>57</sup> – отвечают монахини, ничего не разобрав.

В сакристии Роберт нарушает естество. Все чаще и чаще Роберт, избегая Терезы, нарушает естество; после этого наступает ослабление, тупая боль в сердце, помрачение мыслей, сон. Нарушение естества влечет за собою похудение, нервность, неспособность к умственному сосредоточению.

Роберт хирел на глазах, он кашлял, кашлял и читал, ел яблоки и предавался одиночному пороку, от слабости он еле держался на ногах.

Так, раз ночью тихо отворилась дверь и в комнату вошел кто-то и, беспорядочно целуя его, забрался в его кровать.

Странная немая сцена. Тереза обнимает отталкивающего ее Роберта, который, наконец, сдается, позволяет ей, и она целует, согревает его, прижимается к нему, желая пробудить его.

«Да и вправду ли, – вдруг думает Роберт, руки его покрываются холодным потом и сердце нестерпимо стучит, – да и вправду уехать, ожить, да успокойся ты», – но измученное тело не успокаивается.

– Бедный Роберт! – целует его Тереза.

Но тело его отказывается повиноваться, иногда даже, кажется, оно немного пробуждается к жизни; тогда Роберт ее обнимает, но тотчас же выясняется, что телу вовсе не до этого.

---

<sup>57</sup> Аминь! (лат.).

Тереза ничего не понимает. Роберт отворачивается к стене и кусает себе руки; тогда Тереза, обнимая его не то по-матерински, и не то по-детски, успокаивает его, но бедный Роберт вне себя, он, быстро шепча, прогоняет ее.

Тереза исчезает. Роберт мучается и мечется; зажегши свет, он одевается, берет первые попавшиеся книги, вынимает чемоданы.

Утро настало. Шатаясь из стороны в сторону, Роберт в испуге идет в церковь. Почуввав недоброе, сестры думают уже отменить служение. Однако оно начинается и до половины доходит как будто нормально, даже слова служения произносятся правильно, однако плечи аббата как-то странно подпрыгивают по временам и передергиваются. Всем ясно, что так не может продолжаться. Поднимая причастие, священник вдруг как-то странно ломается пополам, роняет, почти бросает его на престол и, поворачиваясь, кричит:

– Это не ваш Бог, а вот ваш Бог!

Роберт показывает им то, что считает их богом.

Смятение, вопль, монахини закрывают лицо руками, несколько крестьян бросаются вперед. Роберт ударяет первого, но ослабевает и тотчас же падает и корчится на земле, глаза его закатываются, пальцы и ноги скрючиваются, и на углах рта появляется пена. Здоровенный крестьянин, собравшийся было ударить лежащего деревянным сабо, вдруг замечает, что кто-то повис на нем, кто-то кричит и пытается закрыть собою лежащего.

Это Тереза. Сообразив что-то, сестры своими мужскими руками отрывают ее от него и, бьющуюся и голосящую, насильно увлекают за собою. Однако некоторые слова были слышаны многими, и скандал непоправим.

Роберта, сильно потоптанного и поминутно приходящего в сознание, несут на одеяле в больницу, а потом, во избежание самосуда, в муниципальную тюрьму. На следующий день его увозят навсегда на огромном дорожном автомобиле, в котором камень разбивает стекло.

Терезе тоже уже нельзя оставаться в St-Morancy, ибо скандал и слухи о кощунстве быстро разносятся по окрестностям и проникают в газеты; и слухи увеличивались, как горный поток. Уже говорят о повальном прелюбодеянии сестер и священников, и всем ясно, что монастырь на днях будет закрыт.

Ровно через неделю мать, предупрежденная телеграммой, ночью увозит Терезу в Париж.

## Глава VIII

*Quand line comete pendant la nuit apparait  
subitement dans line region du ciel sans doute elle n'est  
pas consciente de son long voyage*

*Lautreamont<sup>58</sup>*

После смерти отца наступила внезапная бедность. От большого дома ничего не осталось, ибо выяснилось, что граф растратил свое достояние на поддержку каких-то неведомых организаций, какого-то «братства седьмой трубы» или «антикаббалистической лиги».

Но в новой нищете на жизнь Терезы дохнула теплом кроткая и незлобивая вера ее матери. Нерасторопная и неподвижная, не смевшая прежде сказать единое слово, запуганная, она не смогла теперь защитить Терезу от нищеты. Девочка сперва училась в городской школе, неравномерно и неуспешно, носила башмаки на деревянной подошве и утром, еще в сумерках, закутанная в шарфы, ходила за молоком. Но мать все просчитывалась, забывала, роняла, разбивала, она слабела видимо, и скоро пришлось найти католическую стипендию и поместить девочку в монастырь; но при медицинском освидетельствовании выяснилось, что ну-

---

<sup>58</sup> Когда ночью появляется вдруг в небе комета, для нее все равно, долго ли она находилась в пути. *Лотреамон (фр.)*.

жен не лицей, а преванториум. Еще месяц прошел, и Тереза уехала в Швейцарию. Тем временем меньшего брата усыновили богатые свояки с условием не видеться никогда с семьей. Старший же ушел в действующую армию с тем, чтобы бесславно умереть на задних линиях от молниеносной дизентерии.

Бессловесная мать их, оглушенная столькими несчастьями, продала все, что осталось, и поселилась приживаться в Испании около самого Гибралтара в поместье одной из боковых ветвей ее рода, передав все заботы о дочери своему брату, взбалмошному старцу, коллекционеру и спириту, у которого Терезе и пришлось поселиться по выходе из монастыря.

В монастыре мистическая наследственность ее распустилась ядовитыми цветами. Монахини запрещали ей молитвы и ночные бдения, боясь за ее жизнь, ибо Страсти Господни доводили ее почти до обмороков. В келье своей она не раз засыпала под кроватью, где пыльный промежуток между каменным полом и железным матрасом напоминал ей гроб. Когда же, изломанная холодом, она просыпалась, в голубом мраке рассвета думала она: «Боже мой, зачем воскресаю я каждое утро? Неужели Ты не призовешь меня посреди сна?»

И, превозмогая искушение закутаться в жесткое одеяло, что тогда казалось ей верхом блаженства, она с острой болью в суставах становилась на колени.

Но слезы горя смешивались со слезами счастья. Мистиче-

ский свет, столь долго отказывавшийся брезжить даже на самые страшные мольбы, вдруг, без малейшего повода, ослепительным наводнением застилал все. Тогда она лежала на камнях ничком или на своей тюремной кровати навзничь, и нежное ее лицо было мертвенно неподвижно. Все творение, на темном дне которого она так долго-долго угасала, казалось ей вдруг залитым золотым светом, оно было доступно из конца в конец, и она сразу была во всех концах его. Подобно яркой звезде, дышало оно между высшим и низшим мраком, подобно бессмертному ангелу, сердцем которого был Иисус. А ангел этот был весь соткан из миллионов иных ангелов – живых огней, из коих меньшие напоминали золотые бабочки, а большие легко удержали бы землю на своей ладони. И две силы постоянно боролись внутри его священного сна: сила распада, терпкое качество, вечно старающееся изолировать каждую клетку, и сладкое качество, нежная сила события и воскресения, которое, подобно лучезарному кровообращению, омывало все. Но это было лишь мистической телесностью видения, а за нею брезжила еще мистическая духовность его как сладостное и страшное предчувствие какой-то радикальной перемены, вечно звучащий и как бы безмолвный звук, осознать который означало умереть. Но умереть так было слаще всякой жизни. Исчезнуть, растаять, как снежинка, падающая на солнце, очнуться, преобразиться и все забыть. Тихо, через все сферы, потоки и озера света звучал голос:



– Ты видишь, Я в агонии и буду бороться со смертью до конца мира. Но ты, Тереза, возлюбленная Моя, не оставляй Меня.

– Господи, погибнуть! Господи, погибнуть! – быстро шептала она, обливаясь потом и слезами.

– Нет, живи, – отвечал голос, – вы все стремитесь оставить Меня в Мой смертный час. Остайся там, где холоднее всего.

И она оставалась, она закрывала окно, через подоконник которого готова была уже переступить, и Он жил в ней неисповедимой тайной жизнью, так что, даже не думая о Нем, она ощущала Его присутствие, как ощущают присутствие смертельной болезни.

– Разве Я не покинул Своего Отца для Тебя и не возвращусь к Нему до конца мира? – от сердца к сердцу без слов говорил Он ей, прося ее остаться с Ним на земле, и она целовала каменный пол своей одиночной камеры и шептала:

– Боже, я остаюсь. Ты видишь, я остаюсь, и мне уже хорошо здесь, и я уже не хочу освобожденья.

И опять рыдания сотрясали ее, как цветок в руках сумасшедшего.

Когда Тереза выросла, дядя взял ее из монастыря. Этот дядя, депутат и доктор психологии, задумал лечить ее от мистической порчи перекрестными душами и политическими салонами. Она исполняла все его прихоти и снова становилась как мертвая, и взбалмошный старик кричал ей грубые и оскорбительные вещи. После чего он стал держать ее вза-

перти и как бы забыл о ней и вдруг объявил ей письмом, что она должна зарабатывать на свою жизнь и как можно скорее оставить его дом, который она позорит своею истерией.

После этого Тереза стала служить в банке, и сперва все шло даже гораздо лучше, чем прежде. Она что-то целый день считала и даже видела цифры во сне. Но новое несчастье – зрение ее, до того исключительно острое, стало вдруг быстро ухудшаться, и, несмотря ни на какие стекла, резкая боль вдруг пронизывала ее голову до самого затылка. Тогда она перестала работать, и ее дядя принялся каждодневно издеваться над ней и над ее отцом.

– Паралитики прогрессивные вы все, – говорил он, жуя свои любимые свекловичные салаты.

Наконец, наступил тот день, который втайне она давно и радостно предчувствовала и даже удивлялась, почему он так запаздывает.

В этот день все само собой стало ясно. Проснувшись рано, Тереза раньше всего ощутила в себе необыкновенную неподвижность и конец какого-то долгого процесса. Она двумя руками отодвинула занавески и вышла на балкон. И вдруг, посмотрев на бездонно сияющее летнее небо, она почувствовала, что «разрешение пришло». И ей стало нестерпимо легко и просто. Слезы сами собой полились из ее глаз, но она не закрывала глаз и не утирала слез. Она с каким-то изумлением смотрела на пыльные деревья Люксембургского сада, как будто она видела их в первый раз. Внизу, не сумевши

разъехаться с автобусом «А», малиновое такси выкатилось на самый тротуар, да так ловко, что Тереза засмеялась.

Она смотрела на все и как будто все запоминала. Но все было плоско и миниатюрно по сравнению с бездонною голубизною наверху, вровень с ней, у самого балкона.

Потом, вспоминая это, она спрашивала себя, почему ее тогда больше всего интересовала именно эта миниатюрная и плоская жизнь внизу, а не безмятежная сияющая синева, а потом решила: потому, что всю эту мелочь она должна хорошо запомнить, ибо разрешение пришло, и весы, слишком тяжело нагруженные, сами собой покачнувшись, показали стрелкою свободу, смерть.

Потом она стала прощаться со своими вещами, ибо друзей среди людей у нее не было: она перецеловала книги и ручки, она попрощалась с креслом и с ванной комнатой, она пустила воду в умывальник и, подставив руку под кран, попрощалась с водой.

Потом она достала из комода несколько новых кредиток, которые дядя передал ей на шубу. И, несмотря ни на что, как при кораблекрушении, во сне закрыла дверь своей комнаты. Жизнь в этой комнате вдруг стала ей казаться какой-то далекой, как воспоминание детства.

Было очень рано, и благообразный лакей, похожий на австрийского императора Франца Иосифа, наставительно наблюдавший за полотерами, радостно и удивленно приветствовал ее нараспев:

– Mademoiselle!

Mademoiselle остановилась и что-то хотела сказать ему, этому единственному ее доброжелателю в этом доме, но, ничего не найдя, только посмотрела на него, улыбаясь, но таким взглядом, что лицо его вдруг озадачилось и сделалось совсем серьезным, и он даже в смущении сделал шаг ей вслед и бессознательно протянул было руку, чтобы напомнить ей о чем-то, но ее уже не было; она, быстро перебирая своими тонкими ножками в туфлях из мышиной кожи, сбежала по лестнице и быстро пошла по сиренево лоснящейся мостовой через дорогу.

Куда она шла? В оружейный магазин и в церковь, но над городом цвело яркое и пустое июльское воскресенье и оружейные магазины были закрыты, а церкви переполнены.

Исходив полгорода, она зашла в ресторан обедать. Против нее сидел кремовый японец и смотрел на нее восхищенными глазами без век; она, против своего обыкновения, необычайно откровенно переглядывалась с ним и, наконец, уставилась улыбающимися глазами ему в лицо, но от этой улыбки японцу сделалось не по себе, и вдруг из ее открытых глаз медленно выкатились крупные слезы и сбежали вдоль щек; она еще раз улыбнулась и, уже ничего не видя, вышла из ресторана. Лакей бросился за нею вслед, но японец горланно окликнул его и заплатил, рассыпая бронзовые деньги, ибо жалкие руки его тряслись.

На Pasteur<sup>59</sup>, куда она заехала на неизвестно почему поправившемся ей автобусе, она вошла в ярмарку и, казалось, хотела за недолгое время испытать все радости земного существования. Она каталась на карусели вместе с модистками, она стреляла из пистолета и ела хрустящие вафли с кремом, затем ее внимание привлек безостановочно дребезжащий звонок над пестрыми рекламами кинематографа; она взяла дешевый билет и села в партер.

Несмотря на воскресенье, кинематограф «Mille Colonnes»<sup>60</sup> был почти пуст, и на целый час она, совершенно успокоившись, погрузилась в фарсовые перипетии американской кинотрагедии. В антракте почти все мальчишки ушли курить и есть сальные блины на той стороне ruede la Gaite<sup>61</sup>, а из аквариума оркестра вдруг родился и стал разрастаться хриплый и нежный звук, разбудивший ее от неподвижности.

Кто-то, вероятно, горбатый старик (почему-то ей казалось, что именно горбатый старик), на невероятно плохой, прямо-таки жестяной скрипке громко играл, нагибаясь к самой земле, «Патетическую сонату» Бетховена, и, странно, может быть, потому, что скрипка была так плоха и так врал, или просто по несходству с сизым дымом низкого зала, скрипка так незабвенно, неизъяснимо сладко пела, и умира-

---

<sup>59</sup> Бульвар Пастер (*фр.*).

<sup>60</sup> «Тысяча колонн» (*фр.*).

<sup>61</sup> Улица Гэте (*фр.*).

ла звуками в воздухе, что невозможно было не зарыдать.

Но она сдержалась.

Да, так умирает, так исчезает ее жизнь на высочайшем звуке немудреной скрипки, никому не понятная, никем не оцененная, абсолютно безвозвратная, уже прошедшая; глаза ее закрылись и лицо окаменело, так прекрасна была безнадёжность этого умирания. Так что толстый господин, три раза просивший ее подвинуть ноги, чтобы дать ему вернуться на свое место, решился, наконец, попросту перешагнуть через нее.

Солнце было еще высоко, когда она вышла из синематографа, ослепительное пыльное небо резало глаза, разогретый усталый люд теснил ее.

Долго-долго она бродила по левому берегу, садясь на скамейки, путаясь в незнакомых перекрестках, наконец, она нашла какое-то кафе, уткнувшись лицом в стол, заснула, разбуженная, выброшенная на улицу, полумертвая от усталости, неведомо как попала на бал, бросилась в объятия судьбы.

# Глава IX

*Человек в смертную ночь свет зажигает себе сам, и не мертв он, потушив очи, но жив, хотя и соприкасается с мертвым.*

*Гераклит*

Аполлон Безобразов уже долго не платил за комнату и уже давно подготовлялся к новой жизни. Мы постепенно вынесли под пальто все, что можно было унести, и то было немного, ибо книг мы тогда не читали, вещей у нас почти не было. Грязную посуду Аполлон Безобразов, утомясь ее зрелищем, разбивал, ели мы со сковородки, пили из никогда не моемой кружки, пахнувшей зубной пастой, привкус, который он даже любил, находя в нем особую свежесть. Пили и ели из одного и того же, безразлично ошибались пиджаками, в чем я тоже находил особую христианско-братскую усладу, близкую тому унижению и вместе с тем освобождению, которое чувствует женщина, впервые изменяющая своему мужу, или опустившийся человек, впервые в жизни вынужденный надеть чужую заношенную грязную шляпу.

На этот раз это было серьезно, вторую ночь мы уже спали на улице, то есть почти не спали, сидя в кафе и пытаясь разговаривать и играть. Но денег ни у кого из нас не было, и эту вторую ночь нам предстояло ночевать на скамейке. Нам, то есть мне, Безобразову и Терезе; относительно Терезы об

этом страшно было даже и подумать. В комнате без окна, ключ от которой мы, возвратившись позднею ночью, не нашли на обычном месте, оставались лишь куски рубашек, какой-то мой дневник и первые дни нашего знакомства с их яркой июльской погодой. Вероятно, кто-нибудь проснулся в то утро, когда Аполлон Безобразов нес Терезу на руках по лестнице, спотыкаясь о ступени, кто-нибудь пожаловался, да и очень давно за комнату было не плачено.

Жаркие дни, как нарочно, сменились вдруг дождями и облаками. Солнце осушало начисто вымытые мостовые, но не успевало еще толком нагреть камень, как опять освещение менялось, даже не на всем протяжении городского ландшафта сразу, и снова торопливый августовский дождь шумел и заливал сидящих за столиками, и все пряталось. Но у нас с Безобразовым было всего одно пальто на двоих. Промокшие, мы вызывали недоумевающие взгляды, мотивированные особенно присутствием Терезы без шляпы, в отяжелевшей от воды дохе. Ночью было спокойнее. Помню, мы только что пообедали в сердобольной шоферской семье, но вот опять мы были на бульваре подле виадука подвесной железной дороги. Молча, в каком-то недоумении, смотрела Тереза на темное небо, по которому, ярко освещенные уличными фонарями, плыли низкие желто-розовые облака. Ветер шумел в сырой листве, изредка обвевая камни, и сень каштанов поблескивала в зеленых газовых лучах, как бы гальванизированная чуждой искусственной жизнью. Песок бульвара,



желтый и крупный, напоминал подмосковную дачную местность, и мирный вид его странно смешивался с угрожающим ощущением бездомности и непогоды, в то время как давно промокшее платье издавало особенный сырой сучий запах.

С каким-то долгим изумлением, как бы не веря случившемуся, смотрели мы пред собою, прячась в поднятые воротники. Да! Да, сомнения быть не могло, это и есть то самое состояние, мимо которого не раз проходили мы с дрожью болезненного любопытства, – ночь на уличном дожде.

Помню, еще оставалось у нас около трех франков на ночное сидение в «Ротонде», однако, дойдя до Denfert-Rochereau, мы остановились около места, где жалобно в сырой пустоте, стеная органами и сияя старыми своими фиолетовыми дуговыми фонарями, тяжело вращались варварски изукрашенные пустые карусели. Однако не эти допотопные вращающиеся дома, все облепленные зеркалами, картинами, завитками и деревянными фигурами и гербами, привлекли внимание Терезы, а другое, еще более старое увеселение. На самом краю ярмарки, мелкие балаганы коей были уже закрыты, почти у самой станции метрополитена, той, где он выходит из-под земли, раскинулась за зеленой деревянной загородкой бутафорская железная дорога, где красивый, ярко начищенный паровоз медленно кружился, периодически исчезая в картонном туннеле, миновал картонную станцию, пронзительно-грустно свистя по временам. Седой величественный механик, стоя, правил. Древняя старуха сидела

за большой, вероятно, совершенно пустой, кассой и вязала. И все вместе – газолиновые фонари, запах угольной гари и миниатюрные, совершенно пустые вагоны – было полно чем-то столь острым, дачным и дождевым, что мы долго не отходили от изгороди. Тогда старуха обратилась к нам и предложила барышне прокатиться со скидкой по железному кругу, и хотя скидка равнялась всему нашему имуществу, мы не смогли отказаться и около часу кружились, прижавшись в углы закрытых вагонеток, пока мимо нас в облаке пара вновь и вновь проплывали темный корпус какого-то завода и низкое здание станции метрополитена в конце лоснящейся от сырости площади. Аполлону Безобразову даже искра попала в глаз. Наконец, городские-велосипедисты остановили движение по круговой линии, и замолк паровой орган, откуда при каждом звуке вылетали струйки холодного уже пара, и мы, выброшенные из тяжкого своего оцепененья, снова очутились под дождем. Последние деньги были истрачены, и Безобразов предложил пройти до шоферского ресторана за Монпарнасским вокзалом, надеясь встретить кого-нибудь и занять мелочь. Тщетно обходя лужи, мы тронулись в путь.

Обдумывая случившееся вслед затем небольшое происшествие, я понял, что агенты частной полиции сидели, вероятно, на террасе кафе du Dome и, узнав нас, проходивших, незамеченные, последовали за нами до самого «Rendezvous des chauffeurs», где и произошло столкновение, в результате которого мы нашли неожиданный приют и познакомились с

Зевсом.

Сначала, изумленные и ослабленные голодом и бессонницей, мы и не думали сопротивляться, только Тереза, увлекаемая двумя широкоплечими, грубого вида людьми в котелках, так страшно, отчаянно закричала, что тотчас же все население ресторана выскочило на улицу. Тереза отбивалась, озадаченные агенты старались ее уговорить. Аполлон Безобразов растерянно озирался и с презрением и злобой посматривал на меня. Но не успела Тереза вскрикнуть еще раз, как вдруг один из держащих ее буквально поднялся на воздух и, судорожно отбиваясь, как огромный краб, поплыл над головами, перевалился через низкую стенку писатьера и, охнув, исчез за нею. Другой, ошеломленный этим зрелищем, вдруг слетел, сбитый мгновенно сообразившим Безобразовым, и вот уже они, мокрые и красные, исчезли за углом, из-за которого раздался острый рыдающий переливистый свисток. Однако теперь Тереза поднялась на воздух, и, бросившись за нею, мы уже качались, сдавленные, в таксомоторе и неслись неведомо куда среди возобновившегося проливного дождя. В то время как виновник нашего похищения и воздушных эволюции инспектора, узнав от Терезы о том, что она несовершеннолетняя, бездомная и преследуемая опекуном, поминутно оглядывался, сидя рядом с шофером, и лицо, всматривающееся в темноту автомобиля, было красно и окаймлено столь широкою рыжею бородою, что сразу напоминало что-то давно виденное и знакомое.

Куда, однако, мы ехали? Кто был Тихон Богомилов, унесший агента, увезший нас? Он был сибирский крестьянин, то есть не крестьянин и не помещик, а сын старообрядческого начетчика и богатого человека, даже не старообрядческого, а какого-то особенного, сектантского; впрочем, он никогда не объяснял в точности – какого, а на вопросы о жительстве с добродушной улыбкой отвечал: «Да мы лесные», – но никто, впрочем, и не настаивал.

Борода у него, за которой он улыбался, была изумительная, не бородка, и не лопатой, а подлинно национальная бородища веником, которая, как русое сияние, со всех сторон озаряла его скуластое бесформенное лицо.

Впрочем, он был не шутовского нрава, а молчаливого, и не раз видел я его впоследствии читающим славянскую рукописную книгу, которую он в засаленной газете всегда вместе с деньгами носил на груди. Однако никогда не дал он даже заглянуть в нее, и только Аполлон Безобразов, втайне осмотревший книгу, говорил, что это было древнейшее сочинение о двух сокровищах, в котором большое место уделялось Отцу Света, Первому человеку, вопрошающему солнце, отвечающему луне, и пяти змеям Отца, возрастившим дерево. Аполлон Безобразов говорил, что в книге цитировался Барбезан и Маркион, и многозначительно улыбался, думая, что имена эти поразят меня; мне же они были вовсе не знакомы.

Утром, когда Тихон Богомилов мылся, фыркая и расти-

раясь по старой борцовской привычке, он один раз только в день выкатывал до отказа дыхательный свой ящик, заросший невероятно рыжей бородой, почти столь же пушистой, как и лицевая; он издавал какое-то особенное покрякивание, от которого как-то особенно весело становилось, ибо в ширине этой груди, в высоте ее, в мягких огромных мускулах, которые ее окружали, было столько национальной мощи и свежести, сколько нет в десяти романах о России.

Аполлон Безобразов чувствовал безграничное уважение к Тихону и, действительно, казался сравнительно с ним ребенком, однако тот и не пытался повторить ни один из тех акробатических номеров, которыми гордился Безобразов, ибо в этом теле жило особое пластическое ощущение своего достоинства, и оно чувствовало, что ему, как слону, не подобает стоять вверх тормашками или, надуваясь, подтягиваться на одной руке.

На теле Тихона отдельные мускулы не выделялись вовсе или только при усилении, но широта этих рук была такова, что ему достаточно было стать в своем халате или вылезть из-за своего шоферского места, как недовольный его действиями и возбужденный противник тотчас же понижал голос или сам как-то даже уменьшался в росте.

Так, Тихон Богомилов единственный только раз за свою шоферскую карьеру рукоприкладствовал, но власти предпочли тотчас же лишить его права езды.

Теперь он служил сторожем в большом заколоченном

особняке около Porte Champerret<sup>62</sup>, за границами фортификации, и это к нему мы подъехали темною сырою ночью.

Таксист, обменявшись дружелюбной фразой, уехал тотчас же, и мы сквозь мокрый сад, который отряхал на нас крупные капли, шурша по заросшему гравию, но молча, проследовали в заколоченный и темный дом, крыльцо которого, покрытое выбитыми разноцветными стеклами, само даже заросло пышными сорными растениями, и только вдали над садом неестественное желтое освещение низких, полных влагою облаков говорило об огромном городе.

---

<sup>62</sup> Порт-Шамперэ (фр.).

## Глава X

То незабываемое время, лето и осень, мы прожили в величественных комнатах, стены которых были облицованы старым полированным деревом, а потолки расписаны побледневшей и осыпавшейся лазурью, в которой висели желтоватые перистые облака и неподвижно парили синие ненатуральные птицы. Иногда по самому берегу неба проходила тонкая, неизвестно откуда взявшаяся веточка и заглядывал вниз большой розовый амур и, как бы задумавшись, оставался так, не меняя положения, дни и дни, годы и годы.

Дом этот, в котором мебели никакой не было, был под затыжным судебным запретом, и Тихон Богомилов нанялся сторожить его на место старика, участника многих войн, умершего при падении с лестницы.

Городской шум почти не доходил до отдаленной окраины, и в солнечную погоду комнаты эти, все залитые широкими лучами, не встречавшими нигде помехи, создавали впечатление какого-то неземного покоя и равновесия, как будто они находились где-то далеко над землей и облаками, подвешенные вместе с садом какой-нибудь неведомой силой.

Это были, действительно, «покои», то большие, с мраморными каминами и заколоченными окнами, то крохотные комнаты и комнатушки, лесенки, закутки, а на дне их – глубокие стенные шкафы, откуда оконца открывались на неиз-

вестный дворик.

В подвале был глубокий колодец и около него склад каких-то проржавленных механических моделей неизвестного назначения. И оттуда, так же как и с потолка, можно было разговаривать с любой комнатой по трубам проложенного, но не законченного парового отопления.

– Ау! – кричал Тихон басом с чердака, – снег, должно, пойдет.

– Что? Снег? Ну хорошо! – отвечал Аполлон Безобразов из подвала.

В хорошие дни солнечный свет спал на теплом полированном дереве. Он, казалось, накаплился в нем, как в янтаре, и наполнял доверху сосновые стенные шкафы, где Аполлон Безобразов нашел единственную книгу «Крокодил, или Героическо-комическая поэма о борьбе добра и зла. Неизвестного философа. Париж, второй год республики, издание Треугольника Добродетелей».

Иногда от этой солнечной полноты чувство такой беспричинной радости охватывало нас, что мы кричали, пели во весь голос, бегали и хлопали дверьми, дико танцевали перед пыльными зеркалами, а иногда хотелось нам именно там, где появлялось это настроение, сесть у стены на пол и молчать без конца, следя за медленным передвижением солнечных полос.

Аполлон Безобразов спал в шкафу. Его любимая комната была бывшая библиотека, стены которой сплошь занима-



ли глубокие полки, на которых кое-где еще оставались пожелтевшие ярлыки с непонятными латинскими названиями. Аполлон Безобразов спал на этих полатах, и часто, когда я утром приходил за ним, его голос раздавался из совершенно неожиданного места, иногда с большой высоты под потолком, откуда он, наконец, приотворяя створки, не спеша выглядывал, как ожившая мумия из стены древнего могильника.

Тереза поместилась под самой крышей в комнате для прислуги. Она спала там на тонком матрасике на голом полу. А в соседних комнатах с разбитыми стеклами зимовали ласточки.

По вечерам мы все собирались вокруг маленькой железной печки, которую предыдущий сторож поставил в полукруглой комнате, окруженной широкими диванами-лежанками, обитыми рваной кожей. Там спал Богомилов, широко раскинувшись и свесив во сне огромную античную ногу, за которую Безобразов и прозвал его Зевсом. И никто очень долго не знал о нашем присутствии в доме, потому что длинный и заросший сад, где мы ломали сучья для печки, выходил прямо к выбоине окружной дороги, где через равномерные промежутки с шумом проносился поезд.

Там же на печке Зевс варил наш древнеримский обед, состоящий чаще всего из супа из белой фасоли, которую он долго перед этим мочил в разбитой мраморной ванне. А поздно ночью он читал при единственном на весь дом

голубом фарфоровом ночнике, шарообразный голубой абажур которого, покрытый матовыми стеклянными волнами, оставлял на потолке длинные расходящиеся световые полосы вокруг центрального, более светлого круга, в необычайной тишине осенних ночей, в то время как, неподвижно глядя на потолок, я часами вспоминал что-то.

Потом я засыпал, и мне снились сны. Мы все вообще спали очень много, и часто до заката дом был погружен в сон. Поздно, кутаясь в шубу, спускалась Тереза вниз. Ее красивое желтоватое лицо было заспано и хмуро, и с трудом Зевс заставлял ее есть. Она почти всегда молчала и светло-серыми глазами печально и внимательно следила за говорившими. С темнотою вокруг печки по прожженному полу протягивались малиновые дрожащие полосы. Тогда начинались разговоры. Они позабыты, но их ощущение, не ведая тления, как ангел, как запах, овеивает то легендарное время.

Сохранение неподвижности, неподвижности судей, августальных фигур и изваяний было особой мистической модой тех лет – созданная Аполлоном Безобразовым и усвоенная всеми нами, подобно пластическому открытию или особому восприятию мира.

Аполлон Безобразов удивительно умел говорить о ней, он любил ее и считал самым важным признаком душевного благородства. Но не о полной неподвижности и небытии, а о иной, подобной жизни флагов на башнях, во время которой медленно зреет и повторяется какой-то глубинный и золотой

процесс.

Еще он особенно любил говорить о повторении, о красоте бесконечно долгого внимания и углубления внимания праведности восточных подвижников. Он говорил о том, что звук Е – начало, О – окружение и сумма всего, У – воля и звук трубы конца, А – полнота утверждения и вечность, И – сила, пронзающая окружность, начало всякой личности и печали. Так, долго рассказывал он о значении древних имен, как Оэахоо, Индра, Иоанн, Анна. Затем он говорил о количестве и качестве, о сплошном и раздельном, о свободном и необходимом, и голос его падал, как дождь, среди всеобщего молчания, и наконец, он как будто засыпал и сам превращался в одно из тех металлических изображений на фронтонах зданий, с неподвижной улыбкою смотрящих на что-то, которые он так любил. Он повторял и повторялся, с нелепым упорством развивал одну и ту же мысль, как гамму или этюд, остановившись на какой-нибудь паре понятий, бесконечно переливал их из одного в другое, как содержание двух чаш; задумывался, устраивался поудобнее и наконец действительно засыпал, не меняя положения.

Все мы любили сидеть дома, за исключением Безобразова, который неделями иногда неизвестно где пропадал, ибо его посреди зимы вдруг тянуло посмотреть прибой океана или Шартрский собор, и он, не заходя домой, отправлялся пешком в Нормандию, причем целую неделю жил в пещере на берегу океана, питаясь исключительно яблоками, оставлен-

ными после сбора. Часто он ночевал на улице еще потому, что любил спать под открытым небом. А когда его не было, мы часто, но тщетно говорили о нем, то есть, вернее, я говорил, а Тереза, глядя в сторону, иногда только отзывалась, а когда я уставал и замолкал, в комнате воцарялась, постепенно все наполняя, лишь бесконечная, подземная алая песня каменного угля в печурке; смежая веки и всматриваясь в красные лучи, протягивающиеся между ресницами, я слушал то, о чем пел огонь все тише и тише, неустанно расточаясь в отдалении. Теперь казалось, что музыка играет в печке и что какие-то голоса разговаривают на солнце. Медленно спрашивают, тихо отвечают. Молчание. Потом раздается тихий и отдаленный смех, заглушенный шелестом весенних садов и непрерывным торжествующим треском кузнечиков, шепотом солнечных гномов, ариэлей, эльфов.

Так мы молчали, как бы отдалившись вдруг от жизни, и курили папиросы, красные точки которых то разгорались, то вновь угасали в непроглядной тьме, освещая вдруг чью-нибудь руку и часть лица. Горящая папироса внутри сложенной горсточкой руки обращала ее в оранжевый грот с китайским фонарем, потом папиросы прекращались, но внимание наше отвлекалось другим замечательным зрелищем. Высоко на темно-синем фоне появлялся над нами тонкий черный крест оконной рамы. Над землею начинало светать. Потом крест этот превращался в стройную мачту с перекладинами, на которой медленно приближались бледно-золотые паруса.

И скоро уже утро стояло над нами.

Так в этом фантастическом доме постепенно странные отношения установились между Безобразовым и Терезой; они, не сговариваясь, как будто находились в заговоре, или вообще всегда выходило так, что как будто Аполлон Безобразов со всеми, но с каждым в отдельности, находится в заговоре, ибо у него было то особое лицевое свойство, которое делает лучших судебных следователей: смотреть прямо в лицо собеседнику, не отрываясь и не улыбаясь, но с улыбкой, как будто готовой в любую секунду появиться на поверхности лица и никогда не появлявшейся, как будто он все абсолютно уже знает и только для приличия, формально, любезно спрашивает. И он, действительно, все знал. Он знал так много, но он ничего не понимал, потому что не признавал и, может быть, никогда не испытывал никакой действительной боли и унижения. Было такое свойство его характера, которое свободно позволяло ему на пари простоять два часа на одной ноге, и какое-то спокойное торжество заслоняло от него боль. Так, в течение недели он смотрел только левым глазом, в течение месяца делал все исключительно левой рукой. Было ясно, что он пожертвует своей жизнью из-за малейшей прихоти, ибо был совершенно лишен страха, то есть того, вокруг чего сложилась вся моя жизнь. И вокруг беспричинного страха сложилась моя любовь к Терезе, страха за себя и за нее, который я называл жалостью.

В темноте чердака среди невероятной пыли Аверозэ иг-

рает на рояле (Авероэс – новое лицо в доме, он согбен в три погибели, худ, подозрителен, то оборван, то одет во что-то невероятно дорогое и старомодное). Рояль сломан, несколько клавишей издают глухой и дребезжащий стук. Авероэс играет Баха, он знает несколько этюдов и фуг, путая их и перемежая. Покинутый дом своими пустыми комнатами прекрасно передает звуки, и кажется, что во всех комнатах играют Баха. Медленно строятся стеклянные лестницы. Кто-то подымается. На повороте начинается другая, по которой еще далеко до неба, но как уже высоко от земли. Раз, два, три, четыре, пять. Какой, собственно, час? Не знаю. В саду сквозь капли дождя – чистое омытое небо, золотые мокрые листья, заросшая беседка. Покосившаяся почерневшая гипсовая статуя смотрит на тихоходный поезд, не узнавая его. Рояль играет среди запустения. Холодеющий солнечный луч ползет по серому от пыли холсту картины, где только в одном месте кто-то случайно отер ее и обнажил неестественно тонкую женскую руку, лежащую на полураскрытой книге. Дальше, видимо, мысль стершего пыль переменяла свое направление, и лицо женщины, раскрывшей книгу, так и осталось за серой завесой. Рояль играет в пыли. Аполлон Безобразов и Тихон, примостившись на диване, играют в карты, и отчетливо, не мешая музыке, слышатся их голоса: «Семь пик, без козырей, пас!» Тереза в нише окна смотрит в сад.

Долго вглядываясь в ее спокойную сутуловатую фигуру, я вспоминаю что-то и не могу вспомнить и все-таки помню,

как бывает с книгами – ни слова не остается, а какое-то ощущение все-таки живо. И вот, кажется, она сейчас повернется, слабым болезненным жестом правой руки пригладит волосы, тряхнет ими, слегка откинув голову, и грустно-невидяще посмотрит на меня. Она поворачивается, подносит руку к волосам, страдальчески поднимает подбородок, скашивает глаза в сторону играющих, которые, не оборачиваясь, чем-то показывают, что они видят, что она их видит. И вдруг я вспоминаю.

Да, это было очень давно, так именно откинув голову, стояла на каменистом пляже молодая красивая англичанка, моя двоюродная тетка, и смотрела на бледное летнее финляндское небо, где с непередаваемой нежностью и столь постепенно голубой цвет у горизонта переходит в белый и желтоватый. Лето, похожее на русскую осень, нагретая вода в выбоинах гранита. Запах можжевельника, грибов и сосен, которые на склоне дня озарены таким долгим, таким торжественным вечерним свечением, что кажутся растущими в садах Гесперид; как это было давно, и как мал и несчастен я тогда был, и как мал и несчастен опять человек, когда он любит.

В широкой светлой комнате с разбитыми стеклами Тереза кормит голубей, и они, как белые живые письма, летают вокруг нее и садятся на руки и на плечи. Она смеется, подетски меняет голос, приговаривает, лаская их, вытягивает губы, склоняет набок голову. Но только вошел я, все наполнилось переполохом, биением крыльев и испуганным клекотом.

том. Как будто ангелы наполняли комнату и, толкаясь, спешили ее покинуть при виде грешного человека. Вечером Тереза кормит мышей.

Ночь. Низко клокочет коксовое пламя в чугунной печурке. За окнами черные ветви и прутья сада, а в самом конце его электрический фонарь рассыпает вокруг себя белые световые полосы, в неподвижном тумане странно перемежающиеся с черными тенями мокрых деревьев. Ни звука на улице, и далеко еще до очередного поезда, ибо еще задолго до его появления слышно, как трясется где-то железный помост.

Аполлон Безобразов играет на рояле. Тереза, закутавшись в шубу, не двигаясь, смотрит на белые полосы. Странные спутанные звуки доносятся сверху. Что это? Прокофьев? Милло? Скрябин? Иногда как будто танец какой-то слышен, что-то жалкое, знакомое, вроде «Китайнки», и снова «Ааа! Аааа!» – визжат нелепые агармоничные сочетания. Нет, это ни то ни другое. Дело в том, что Аполлон Безобразов просто совершенно не умеет играть на рояле и в темноте наугад берет бессвязные нелепые аккорды. Но иногда на него нападает какая-то звуковая жестокость, тогда он бесконечно повторяет какой-нибудь режущий диссонанс, затем он играет одним пальцем долго-долго какую-то детски-грустную мелодию. А вот слышится отвратительный дьявольский танец наугад, но странно ритмично выбиваемый на испорченной клавиатуре, причем в два голоса, один – на самом верху, как будто стек-



ло бьется, другой – внизу, на басах, беспорядочно рычащих. А теперь опять бесконечные ахроматические аккорды долго-долго, но не слабея и не уставая вовсе.

Страшная музыка; не пойти ли наверх потребовать ее прекращения? Нет, это не в духе дома, да и странная больная прелесть есть в ней. Тереза, видимая в профиль и слегка освещенная белесым отблеском с улицы, тоже прислушивается и страдает от этой оргии бессвязных звуковых существ; вот она опускает голову на руки, прячет лицо, плечи ее коротко содрогаются, как бы от холода. И снова «Ааа! Ааа! Ааа! Аао!» – дребезжат звериные непредвидимые неземные сочетания, невероятные, невозможные, недопустимые, пробегают, корчась, звуковые чудовища – карлики, жабы, пауки и сороконожки, и Тереза подбирает под себя ноги, как будто по полу шмыгает нежить. Потом рояль как будто останавливается на одной ноте, и двадцать минут звучит только она одна. Наконец, когда мы к ней настолько уже привыкли, что почти уже ее не слышали, перемежаясь с нею через определенные интервалы, ей начинает отвечать другая, высокая стеклянная нота. Теперь кажется, что рояль настраивают. Однообразные отзвуки навевают оцепенение. Но вот к системе двух нот прибавляется третья, все три они долго перекликаются, как стражи различных кругов преисподней. Затем начинаются гаммы. Гаммы звучат иногда до рассвета, и вдруг опять я просыпаюсь от новой визжащей, лающей мелодической какофонии.

Тереза, смотря на потолок, укоризненно качает головою. Потом голова ее склоняется набок, глаза закрываются, и она дремлет, освещенная уличным фонарем, как Офелия в слабом луче ущербной луны.

Зевс спит давно. Ему это звукоподражание внушает странный интерес, напоминая что-то древнее, сектантское; он все улыбался и курил трубку, и огонь от маленького ее очага, изредка вспыхивая, освещал русую его бороду.

Наконец, он встает, крестится двуперстно, мешает золу в печурке, крестится, ложится. Перед сном он, очевидно, во все забывшись, вздыхает и кряхтит горестно, но облегченно, и в этих звуках столько какой-то древней, истинной, природной христианской философии.

Под утро рояль унимается, и только иногда еще странная звуковая судорога через большие промежутки пробегает по клавиатуре все тише и тише... Я сплю, и мне снятся сны.

Мне снился Париж, затопленный морем. Медленно через кафе du Dome проплывали огромные рыбы, и гарсоны плыли вниз головою, все еще держа в руках подносы с бутылками, что совершенно противоречило законам физики. А где-то в сторону Обсерватории, далеко освещая воду желтыми снопами своих прожекторов, проплывала неизвестная подводная лодка, а голос говорил:

– Так меняется слава.

И солнце вставало, озаряя неподвижно плавающих в воде красивых и мертвых монпарнасских проституток... И вдруг

глубокий жалобный надтреснутый стон испорченных водопроводных труб будит меня, ибо я забыл сказать, что покинутый наш дом постоянно кричал и стонал во сне, как будто все не могучи забыть чего-то давнего, печального и отвратительного.

# Глава XI

*C'était l'heure d'un grand départ avec musique et envoi de petits ballons de toutes les couleurs*

*Marcel Jouhandeau*<sup>63</sup>

Оглядываясь на пролетевшие годы, я не вижу в них почти никаких событий. Они, как городские пейзажи того же художника, но как бы написанные на сплошной ленте, чрезвычайно похожи друг на друга, однако мне самому ясно, что все они различны. Только я не могу рассказать – в чем; это, как запах, как вкус, не поддается передаче. И все прошлое в целом делится у меня на большие и малые периоды, ряд непрочных атмосферических явлений, внутри которых, как при изменившейся погоде, совершенно другим кажется все тот же вид из окна. Жизнь делится на атмосферы. Своя атмосфера есть редкое, таинственное, счастливое совпадение нескольких настроений досугов и людей. Поняв что-то вместе, друзья защищаются ею от внешнего мира, который есть река забвения. Яркий и наглый поток, где среди шума и переполоха все отрицают друг друга, все смеются друг над другом, все взглядом или метким словом стараются стереть друг друга с лица земли. Огромное «Нет» несется отовсюду, все

---

<sup>63</sup> То было время великого отбытия под музыку, с надувными разноцветными шарами. *Марсель Жуандо (фр.)*.

толкаются словами, все кипят и изнемогают в словах.

В то время все у нас было особенным и своим. Мы особенным образом молчали, усмехались и делали особые паузы. И столько вещей было уже условлено, столько времени экономилось своим условным языком. Или еще больше: простое голосовое отклонение, сколько давало оно понять, ибо мы не торопились, не топтали друг друга словами, не доказывали.

– Знаете, – говорила Тереза, – я сегодня утром гуляла по набережным, и река была такая гладкая-гладкая под белым солнцем.

Говоря «гладкая-гладкая», она немного поводила рукою, и всем нам становилось ясно, о чем думала Тереза на берегу Сены и какое решение пришло к ней между двумя мостами. В то время мы были так защищены своей дружбой и своим стилем, что казалось, что еще года и года мы проживем в неподвижности среди пыльных зеркал, высоких потолков, окурков и спутанных ветвей заросшего сада, где теперь уже лежал снег. Обрадовавшись снегу, Тереза впервые, кажется, за два месяца вышла в сад. Она шутила, трясла деревца, с которых сыпались мокрые хлопья, и даже было начали мы лепить снежного болвана, и я накатал уже довольно большой ком, но вдруг она устала, бросила все, возвратилась к печке, и несколько дней еще сиротливо таял под дождем у крыльца недоделанный человек, коричневый от земли дорожек.

Но вот однажды сквозь сад прошел Безобразов и рассказал, что он нашел службу в цветочном магазине на углу rue

St-Jacques и rue Claude Bernard<sup>64</sup>. В этом магазине-лаборатории выращивались и окрашивались редкие тропические виды, и как раз следить за отравлением растений и нанялся Безобразов. Там, среди тяжелой гнилостной атмосферы, он проводил теперь свое время, сидя на высоком табурете у стеклянного колокола, внутри которого живые листья и лепестки под влиянием едкого газа обесцвечивались, окрашивались, умирали. Зимнее солнце желтым расплывчатым пятном светило сквозь толстый стеклянный потолок, и со всех сторон во внутреннем дворике, превращенном в парник, ползли, свешивались, путались и душили друг друга жирные и яркие порождения тропической флоры. Отовсюду открывались красные беззубые зевы, протягивались розовые пальцы и висели гигантские персиковые уши. Хозяин этого живого товара жил в самой глубине двора в полутемных комнатах. Он был удивительно худ и скрючен, хотя в движениях быстр и взором упорен, так что его кадык, губы, нос и надбровные дуги составляли вместе какой-то угрожающий гребень. Близко сидящие глаза были остры и внимательны, а выующиеся волосы говорили о тайной жизненной силе.

Но он был не экспансивен, скорее, скрытен и горд. Видимо, заранее насторожен против нескромного внимания нового приказчика. Но, не дождавшись его и поразившись молчаливостью Безобразова, сам вскорости попытался заговорить с ним. Разговорившись, они тотчас же сошлись чрезвы-

---

<sup>64</sup> Улица Сен-Жак... улица Клод Бернар (*фр.*).

чайно близко, хотя оба славились своею необщительностью.

Началось с того, что Безобразов, увлекшись своими растениями, в свободное время прочел несколько книг о ботанике. Затем в библиотеке St-Genevieve<sup>65</sup> нашел средневековые лечебники и трактаты о растительных ядах, полные легенд и заговоров. И так оба находили одинаковое, свойственное хорошо рожденным душам удовольствие в простом утверждении оккультных и сказочных реальностей, как бы простое изъявление силы, не принимающей во внимание возражений, легко игнорирующей, презирающей. Скоро от разговоров о колдовстве, алхимии и астрологии они перешли к более трудным предметам, к иллюминатизму и мистике, наконец, к труднейшему из трудных, к евreo-христианской каббале, все время ожидая, что собеседник окажется не в состоянии следовать далее, и все время удивляясь тому, что он справляется с трудностями.

Однако необыкновенный цветовод знал много, и даже больше Безобразова, ибо уже несколько лет он почти не выходил на улицу, весь окруженный редчайшими книгами, полными еврейских и греческих цитат. Он изучал то самое глубокое соответствие каббалы и Шеллинга – Гегеля, которое так интересовало Аполлона Безобразова, хотя он знал гораздо меньше. Но за ним были многие годы неотлучного размышления над учением о аэонах-ступенях самораскрытия духа, которому его поразительная способность к сосре-

---

<sup>65</sup> Сент-Женевьев (фр.).

доточению мысли при полной телесной неподвижности придавала большую внутреннюю убежденность. Однако он не записывал своих размышлений, а изображал их в курьезных символических фигурах, наподобие средневековых карт Таро, и сразу цветовод поразился ими. Их было также двадцать две. Три основы, семь миров и двенадцать этапов отпадения и возвращения солнца. Все вместе называлось «Таро Адама» или «Сон Адама», не помню.

Долгими часами они раскладывали двадцать два пасьянса Таро, бесконечно обдумывая каждую карту, в которых я ничего не понимал. Но одна очень нравилась мне, она называлась «Астральный мир», и на ней между черной и белой башнями у берега какой-то лужи с крокодилом медленно поднимались к ущербной луне блуждающие слабые огоньки. Безобразов больше всего любил карту «Сила», где красивая женщина закрывает пасть льву, и другую, где молния разбивает Вавилонскую башню. Он говорил также, что карты Терезы это «Изида» и «Повешенный», а карты Зевса – «Император» и «Солнце».

Это было в то легендарное время; помню, как-то сидел я тогда в «Ротонде», маленьком тесном кафе, перегороженном какими-то перестройками, и думал: «Неужели я когда-нибудь буду сидеть за этим столом среди теней минувшего, ожиревший, сонный, конченый, общеизвестный, – какой позор! Ах, нет, лучше пойти на каторгу всем вместе. Всем вместе покинуть Европу, всем вместе, чтобы никогда не погас-



ла та особенная бледно-голубая атмосфера нашей взаимной спокойной экзальтации, высокого европейского стоицизма». О, сколько раз после бессонной ночи мы молча проходили по пустым и чистым улицам, наблюдая медленное рождение света, медленное возвращение к грубой жизни. До боли близкие древней суровости закрытых домов, крестам фонарей и зеркалам, в сумеречной воде которых появлялись наши спокойные и изможденные лица.

Нищие городские подростки, мы с нескрываемым уважением смотрели на великолепное смирение нищих, стоящих на улице. Мы слушали фыркание лошадей в темном рассветном воздухе и тяжелое дыхание поездов, которые через весь город везут цветы и капусту на центральный рынок. Мы любили кататься на их подножках в то легендарное время.

То легендарное время!

Нас постоянно сопровождало тогда ощущение какой-то особой торжественности, как будто мы ходили в облаке или в сиянии заката, такое острое, что каждую минуту мы могли разрыдаться, такое спокойное, как будто мы читали о нем в книге.

Казалось, какое-то особенное мистическое светило стояло над нами. Впоследствии мне передавали, что о нас говорили о каждом как об «одном из тех», в публичных местах насмешливо ждали нашего появления, но мы ничего не замечали.

Подгоняемые друг другом, друг другом увлекаемые, мы

образовывали тогда как бы особый хор греческой трагедии, движущийся в неизвестном направлении, но не круглый хор ионический, а четырехугольный хор спартанский, по углам которого с легендарным спокойствием и верностью себе существовали высокие энигматические фигуры Аполлона Безобразова и Терезы, а вовнутрь его входили новые, слишком хорошие или слишком любопытные души, чтоб остаться в нем до конца, до последнего кораблекрушения.

Действительно, в нашу орбиту попадали новые люди. Они сперва проносились мимо нас, как кометы с распущенными волосами, с ужасом любопытства оглядываясь на странное соединение стольких звезд. Потом периоды их становились короче, они делались спутниками, чтобы впоследствии упасть на солнце.

Глубоко и неустанно звучала между нами высокая нота солнечного сияния Аполлона Безобразова. Всегда видимый в профиль, всегда устремленный к какому-то грядущему, над ожиданием которого он так, однако, смеялся, он, казалось, забыл о нас, он привыкал к нам, мы становились свидетелями его повседневности, еще более энигматической, чем его речь. То, запершись в пустой комнате, он в протяжении двенадцати часов подряд с неумолимыми настойчивостью и любопытством вслух повторял какое-нибудь имя, то целую неделю с остановившимся взором катал на ладони железный шарик, изредка роняя его на стол, то пересыпал песок, то бесконечно долго слушал падение водяной струи из водо-

проводного крана.

Потом вдруг он поместил в газете следующее странное объявление: «Никогда ничему не учась, читаю лекции и даю частные уроки по теории всех искусств и по всем наукам. Исправляю и уничтожаю характеры, связываю с жизнью и развязываю страдающих от нее. Упрощаю все гнетущие загадки и создаю новые, совершенно неразрешимые для гордящихся своими силами. Создаю ощущения: приближения к смерти, тяжелой болезни, серьезной опасности, смертной тоски. Создаю и переделываю миросозерцания, а также окрашиваю цветы в невиданные оттенки, сращиваю несовместимые их виды и культивирую болезни цветов, создающие восхитительно-уродливые их породы. Идеализирую и ниспровергаю все...»

На это странное объявление получилось некоторое количество ответов. Но Аполлон Безобразов захотел вступить в переписку только с одним из своих корреспондентов, который оказался ранее уже упомянутым хозяином цветочного магазина.

Так, смеялся он, радиотелеграфист тонущего парохода через несколько секунд по отправлении своего стандартизированного сигнала слышит короткое, но отчетливое радиоэхо, которое обозначает, что электромагнитная волна обогнула земной шар и возвратилась к месту своего возникновения. Но еще через несколько секунд, уже бесконечно слабо, слышит он новое эхо, которое ученые называют звездным, ибо,

по всему вероятно, эфирная сфера земли окружена на большом, но вполне исчислимом расстоянии непреодолимой и сплошной электрической стеной, от которой через некоторый промежуток времени возвращается на землю радиоволна, создавая вторично звездный отзвук, а дальше – молчание, а дальше – небытие душ и сердец.

Как всегда, какие-то неповторимо прекрасные сумерки лиловели за стеклами и какой-то бессмертный закат, одно описание которого заслуживает целой книги, изнемогал на небе, как близящийся к концу фейерверк, как весна, сгорающая в лете, как то невозвратное время, которое, казалось, не могло уже и продлиться более часа, но все еще длилось, и лилось, и ширилось, легко унося с собою нашу жизнь, достаточно сверхъестественное, чтобы лишить их ощущения тяжести и реальности, достаточно болезненное, чтобы жить этой болью.

Помню, сидел я тогда в «Ротонде» с тем самым специалистом по средневековой философии, которого Аполлон Безобразов прозвал Авероэсом и у которого он служил. Это был чрезвычайно странный человек с прямо-таки фантастической биографией. Но мы уже давно только фантастическое считали естественным. Он сперва был раввином, затем доктором медицины, после этого биржевиком, поставщиком различных правительств, строителем и владельцем пушечного завода, затем вдруг снова студентом богословского факультета, чуть ли не монахом, одно время пансионером пси-

хиатрической санатории и, наконец, по какой-то мрачной фантазии своей, владельцем цветочного магазина.

Приблизительно в это время он стал часто появляться в нашем полуразрушенном необитаемом доме. Он всегда был тщательно и церемонно одет и приезжал на длинной черной лакированной машине, которую мы просили его оставлять за углом, чтобы не вызывать любопытства соседей. Аполлон Безобразов с видом любезного хозяина показывал ему дом.

– Вот эта комната предназначена у нас для библиотеки, – говорил он.

– Да, но где же книги?

– Я много лет ищу их, но пока еще не нашел ни одной, – продолжал шутить Аполлон Безобразов.

На самом деле, он просто любил жечь книги, особенно старинные, в дорогих кожаных переплетах, долго сопротивлявшиеся огню. Это было у него родом жертвоприношения, во время которого он любил читать отдельные слова на полусгоревших, освещенных безумным светом страницах. Он вообще любил все жечь: письма, записки и дневники. Это называлось у него «бороться с привидениями». В известное мне время он вообще уже ничего не читал и у него даже не было письменных принадлежностей, хотя, несомненно, был какой-то период в его жизни, когда он очень много читал.

– Эта комната – мой рабочий кабинет, – продолжал он растворять мертвые покои. – Здесь я пишу свои сочинения.

– А где же они? – спрашивал Авероэс, любезно склонив-

шись и принимая игру.

– А вот, – показывал Безобразов.

Действительно, на пыли зеркала пальцем были написаны какие-то странные слова, лишённые смысла, а также, грубо нарисованные, несколько треугольников и пентаграмм.

– Вот на это я потратил более месяца.

Я приблизился и прочел то самое слово, которое он столько времени подряд повторял вслух.

Потом осмотр продолжался. Мы подымались по маленьким лесенкам, проходили коридоры, маленькие передние, ибо в доме было бесконечное количество надстроек и закоулков. Безобразов звал нас спуститься в подвалы. Но мы предпочли идти пить чай. По дороге Безобразов показал нам свою картинную галерею, или длинную комнату, в которой не было ни одной картины и только на задней стене, перед которой стоял покрытый пылью стул, висели прикрепленные кнопками репродукции трех луврских картин Леонардо да Винчи, Клода Лоррена и Густава Моро, двух рисунков Пикассо и одного пейзажа Кирико, изображающего огромное здание с черными окнами.

Затем Аполлон Безобразов показал другую пустую комнату, где хранилась его любимая коллекция шаров из различных материалов. Насколько я помню, там был огромный чугунный шар, весивший больше трех пудов, стеклянный шар, деревянный и несколько маленьких медных. Они были расставлены в нисходящем порядке своих величин, подоб-

но модели солнечной системы, и Безобразов очень их любил и много часов подряд занимался тем, что катал эти шары по комнате, тщательно изучая их красивые округлые следы по толстому слою пыли. Потом еще комната, посвященная географии, где по всем стенам висели пожелтевшие географические карты. И еще комната, специально посвященная воде. Она циркулировала там по стеклянным трубочкам и была подвешена к потолку в бутылках различных форм, на которых долго в сумеречной тишине дома Аполлон Безобразов любил выстукивать однообразные прозрачные мелодии, которые, значительно приглушенные, были слышимы и на нашем этаже как непрерывный бой каких-то отдаленных подводных часов. Еще Аполлон Безобразов показывал свои странные приспособления, состоящие из веревок, крючков и гирь, благодаря которым все двери одной комнаты или ряд их, составлявший анфиладу, отворялись одновременно или одна за другой со странным однообразным треском.

Читал он нам также свое стихотворение, каждое слово которого было написано на стене другой комнаты и составлявшее одну строчку.

Аверозс выслушивал молча его объяснения, любезно полусклонив голову и слегка скривив рот и держа свою высокую шляпу с тем особенным полусострадающим-полуироническим выражением, с которым светские министры присутствуют на открытии памятников. Впрочем, он был удивительно вежлив. Меня прямо поражало, с какой торжествен-

ностью он держал в руках немывтую чашку с отбитой ручкой, как будто она была редкостным экземпляром китайского фарфора.

Он, так же как и я, любил Зевса за его меланхолическую самоуверенность колосса и огромные архитектурные позы, всегда напоминавшие Микельанджело. Он изумлял его своей средневековой любовью к науке и верой в нее, а малейшее слово Терезы повергало его в длительное молчание.

Он искренно восхищался ею и как-то сказал ей одну из самых хороших фраз, которые я слышал. Я помню, разговор уже некоторое время прекратился, но он все еще находился в той оторопи, в которую повергают воспитанного человека явления неслыханного благородства. Тогда он вдруг сказал Терезе еле слышно, и, к сожалению, лицо его было в это время невидимо, ибо ночь пришла:

– Самое лучшее, это вам умереть.

Однажды он принес с собою тяжелый деревянный ларец, в котором оказался шар величиною с кулак с выгравированной картой земного шара. Это для Аполлона Безобразова. Терезе он присылал цветы из магазина, к концу зимы в таком большом количестве, что ее комната напоминала засыпанный снегом карликовый лес, видимый с большой высоты.

Тереза не выносила окрашенных цветов, она любила восковые гиацинты и огромные белые бульденэж, которые в России ставились в комнатах покойников. Она спала среди них, как Офелия среди водяных лилий, или целый день ле-



жала уже в нижнем этаже, ибо мы, наконец, добились того, чтобы она покинула свою ужасную комнату с голубями. Она была необычайно слаба и казалась тяжело больной, хотя иногда она рано вставала в необычайно радостном, счастливом настроении и принималась мыть зеркала и чистить комнаты, как будто весь мир хотела переделать по-новому, но комнат было много и пыль была ужасающая. Она быстро слабела, уставала, как будто боролась со снегом, который со всех сторон налетал в этот ледяной дворец, и снова ложилась на свой низкий диван и, как больной ребенок, накрывала голову своей вытертой лошадиной шубой. Единственно, что могло ее развлечь и слегка пробудить от оцепенения, хотя не для жизни, а для другого оцепенения, более сладкого, но не менее таинственного, – это была автоматическая музыка, которая появилась в нашем доме вместе со своим необычайно дорогим ящиком из рук Авероэса.

Она очень любила автоматические звуки. Она говорила, что часто музыку для пластинок пишут погибшие, спившиеся композиторы, которые вкладывают в них всю душу своих неосуществленных симфоний, что часто граммофонные вальсы, бесконечно кроткие, как будто уговаривают, склоняясь над вами, и что-то хотят сказать вам, и плачут, что вы не понимаете; что иногда бывает, что после долгого пронзительного шума басов вдруг какое-то небо раскрывается в глубине музыки и кто-то отвечает с неба, кто-то прижимает к сердцу и обещает возвратиться и уже никогда, никогда не

расставаться; и снова глухо поют трубы, как будто какой-то серебряный корабль отдаляется, и глухо шумит, заглушая их, подземная река бытия.

Она до бесконечности слушала одну и ту же пластинку, часто разбитую и издающую шипение и стук, а рядом сидел Богомилов и крутил ручку и изумлялся хитрой механике граммофона. А Тереза смотрела на него таким взглядом сквозь полуопущенные веки, как будто ей было тысячу лет, а ему девять. Затем он варил суп, повязавшись большим передником, и варил чай, и мыл посуду, и долго еще двигался и шумел среди нас, когда все мы уже застывали в иератических позах, охваченные губительной неподвижностью. Самый человечный из нас, но все же столь далекий от человечества, такой добрый и готовый, одинаковый ко всему нужному – то ли чистить картошку, то ли клеивать бумагой выбитые ветром стекла, то ли наставительно читать вслух «Добротолюбие» при бледном ангельском свете круглого ночника. В то время как льдина нашего совместного существования уже трогалась с места, любовь, жалость, болезненное любопытство, восхищение нераздельно связывали нас всех.

Человек в твердой шляпе тоже был уже болен той прекрасной болезнью, которая составляла наше счастье.

Он уже приходил каждый день, приносил подарки, лечил Терезу, так как также был и доктор, один только беспокоился о нашей будущей, но такой несомненно совместной судьбе.

Так жили мы, все одинаково и каждый по-своему защи-

щаяся от жизни, Безобразов – мышлением, Зевс – презрением, я – печалью. И конечно, Терезе, которая защищалась молитвою, было всех труднее и всех мучительнее жить.

Боже мой, как Тереза была беззащитна! Ее буквально каждый мог обидеть на улице; как часто, например, ее обсчитывали или вовсе не отдавали сдачу. Мужчины, трусливое отродье, неустанно приставали к ней на улице, а какой-то, недовольный ее равнодушием, даже побил ее. Другой раз у нее вырвали сумочку, еще другой раз в пустом коридоре метро хорошо одетый господин средних лет, приоткрыв пальто, показал ей возбужденный детородный член. И всякому было ясно, что она не станет защищаться, не закричит, не ударит нахала. И вовсе не потому, что она была такой доброй, нет, она просто не в силах была очнуться от оцепенения, надеть перчатки, написать письмо. И кажется, не мучай ее Богомилов, никогда бы ничего не ела.

Бесцветные губы ее были странно выпучены, когда она часами смотрела в окно или рассматривала потолок с мрачным интересом. Лицо ее часто носило почти злое выражение, углы рта были брезгливо опущены, и она казалась не в силах приподнять огромные, как будто оловянные ресницы.

Читала ли она книги? Не знаю, ибо я не запомнил ее с книгой. Хотя она все знала, все понимала, думаю, все предчувствовала с чужих слов, со слов о чужих словах. Думаю также, что ей было достаточно одной страницы, чтобы оценить книгу, ибо сразу грубость написанного бросалась ей в

глаза, а хорошие книги, к чему, действительно, читать их до конца, не весь ли Пруст заключен в одной своей бесконечной фразе со множеством придаточных предложений, и не вся ли душа писателя в известной перестановке прилагательного, в одном описании единого сумрачного утра.

Зима надвигалась, суровая необычайно. Мы все страдали от холода и темноты. День рано смеркался, бесконечно рано слабел. По голубым улицам еще недолго вприпрыжку бежал полегчавший от холода народ, и скоро уже все было пусто, и редкие снежинки долго кружились по голому камню, прежде чем, ничем не тревожимые, остановятся в неустойчивом равновесии.

Река несла широкие желтые куски льда. Широко разлившаяся, она выгнала нищих из их убежищ под мостами, и они исчезли куда-то окончательно. Умерли, может быть, все. Только на некоторых улицах обледенелые палаточные торговцы хриплыми голосами старались симулировать предпраздничное оживление. Они продавали грошовые гребни неестественного цвета, дешевые елочные украшения и бу-тафорские автоматические ручки. Газетчики грелись около жаровень, пылавших коксовым огнем там, где разрытая мостовая являла глубокий слой бесплодной желтой земли, замешанной черепками и бутылками. У гастрономических магазинов под ослепительным светом дуговых фонарей громоздились варварские декоративные сооружения из ярких консервных банок и раскрытых ящичков с дешевым и сырым

печеньем, и между ними, фальшивя и сжимая сердце, звучал кларнет летучего оркестра Армии Спасения, и бритые неудачники в плохо скроенной форме продавали что-то нравоучительное.

Я любил тогда ходить по предпраздничным улицам, проявляя полную нечувствительность к усталости, подобную анестезии. Слушал деревянные возгласы продавцов, шум автомобилей и шлепанье бесчисленных ног и копыт.

Возвращаясь домой, не снимая шляпы и пальто, ложился ничком на диван, куда Зевс, сжалившись, приносил мне чай. Тогда я в каком-то смятении вдруг просыпался, приподнимался и, возглашая «нет, нет, я не сплю!», принимался доказывать что-то.

Ужасом сумерков означились эти дни, физической тоской о солнце, ибо солнце в деревне тяготит непривычного и недолгого дачника, но солнце в городе, среди камня, отдыхающее на пыльной облезлой зелени, мне было физически необходимо.

Почему так рано темнеет? Четыре часа и уже ночь.

– Самые короткие дни, – отвечал Богомилов.

Тереза сопела носом, она топила печку, и лицо ее было снизу ярко освещено и как будто раскалено, и было что-то бесконечно зимнее, елочное в этом освещении, хотя никто и не заговаривал о елке.

Время шло медленно. Потом мы все играли в карты при свече, и странно, но бесконечно успокоительно звучали од-

нообразные возгласы: «Без козырей, семь первых, вист!» Или Зевс читал газеты, разложив их на полу в сиянии печки. Он вдруг каким-то милым и неожиданным тоном читал отдельные заметки, вызывавшие его изумление: о кладах, о путешествиях или об археологии, но никто не отвечал ему, и скоро он жег газету в печке и слушал прекрасный, но краткий гудящий шум горячей бумаги. А однажды я принес с собою несколько елочных свечей и зажег их, прилепив рядком на спинку колченогого стула. Все долго и неподвижно следили за тем, как прозрачное тело парафина превращалось в огонь, таяло и в воззрении исчезало. Последняя свеча долго агонизировала крошечным синим огоньком, то разгораясь опять, золотисто освещая натруженную спинку, и погасла, наконец, в неравной борьбе уступив со всех сторон теснящему ее мраку.

Скоро Зевс принес лампу. Все, щурясь, отстранились от нее, вырванные насильно из своего сгоревшего детства. Эту яркую лампу он купил для нас и чистил ее сам, наливал и заправлял, не позволяя никому к ней прикасаться.

Помню, рассматривали мы в этот вечер разные вещи, которые Тереза и Безобразов принесли с толкучего рынка: перчатки, русские баранки, ботинки для меня, купленные Терезой, а также что-то никому не нужное, купленное им: маленький какой-то автомат с заводом, увеличительное зеркало, «портрет молодой женщины с выставочным павильоном на руках», нарисованный живописцем вывесок. Впро-

чем, все это стоило недорого. Аполлон Безобразов складывал все это в комнате-музее, там, где была подвешена вода, и подолгу иронически размышлял там среди невероятного хлама, среди которого, улыбаясь, прямо перед собою глядела восковая полуженщина из парикмахерской, и одна половина ее головы была покрыта отвратительными рыжими мертвыми человеческими волосами.

Хотя удивительно интересно было слушать, когда он подробно рассказывал о происхождении каждой из этих вещей и смеялся над мертвой славой стольких забот и мод.

Наконец, неизбежное настало. Однажды, весенним утром, дверь стеклянного крыльца сама собою отворилась и вошедшие, подрядчик и инженер, в изумлении остановились на пороге, в то время как Зевс, не замечая их, оголенный до пояса, продолжал поднимать над головою свою отделанную медью гирию неестественной величины. И вот, как ни унижительно было вторжение, подобное полицейскому обыску в заповедной области сонных видений, все было осмотрено, обмерено, и участь дворца была решена.

Помню. Никогда не забуду наше прощальное скитание по комнатам, которые мы должны были покинуть, подобно душе, уступающей свое тело червию. Сколько заповедных углов и подоконников было осмотрено и навек оставлено за поворотом коридора. Мы еще раз осмотрели комнату воды и картинную галерею, прошли по чердакам и долго жгли в пе-

чурке бесполезные и загадочные коллекции Безобразова, не желая оставлять их неприятелю. То были фотографические альбомы неизвестных семей, золоченые туфли для карликовых ног и флаги многих государств. Все это, политое керосином, горело шумно и быстро исчезало, оставляя неузнаваемые следы. И наконец, когда все уже было готово и гири, шары и книги наши уже отвезены в цветочную лабораторию, мы собрались еще раз вокруг ярко раскаленной печки и, опустив головы и подперев их ладонями, молча смотрели на пламя.

Уже зеленели кусты, тоже в последний раз, ибо и им предстояло быть выдернутыми с корнем, комната была полна теплого весеннего вечернего света, и, казалось, присев перед отходом, никогда не решились бы мы прервать это печальное созерцание, если б Аполлон Безобразов не встал первый и, подойдя к испорченному зеленоватому зеркалу над камином, в котором столько раз слабо отражались огоньки наших папирос, наши смятые пиджаки и небритые желтоватые лица вместе с их невозвратными выраженьями и отраженьями сада, вдруг отступив, размахнулся и железным шаром разбил высокую пыльную память зеркала. Невольно мы все встали, как бы проснулись, и за осыпавшимся стеклом в звездообразной пробойне увидели оставленную при перестройке побледневшую старинную роспись, деревцо и участок неба, куда, как будто освободившись, вдруг отлетела осужденная душа этого дома.



Затем Безобразов залил печку водою, и мы, как авгуры при пожаре Капитолия, среди клубов пара и дыма покинули прекрасный и осужденный дом.

## Глава XII

*Это был прекрасный день для сынов земли и жизни, но еще более прекрасный для дочерей смерти и неба.*

*Эдгар По*

Благородство молчания и неподвижности! Не устаивание серьезного отношения к жизни. Жажда покоя и достижение утоления этой жажды. Сидящий в удобной, но неженственной позе медленно поднимает руку:

– Как странно, что сейчас лето, и жизнь продолжает длиться, как тихо...

Все по-разному носят свою неудачу: одни, как красивую шляпу, измученную и лоснящуюся, другие с романтической нежностью, как Офелию на руках, третьи же (презренные), как разъедающего рака, который неустанно грызет их глубоко под одеждою. А я?.. Было время, когда я видел себя на солнце, а потом совсем переставал себя видеть...

Огонь жизни погасает; огонь жизни стелется по земле.

Усни, мужественный отрок. Смежи свои огромные веки. Тихо проведи по воздуху колоссальными ресницами. Все, что было, вернулось в память. Память вернулась на солнце. Память была...

Никогда не поворачивайся к жизни лицом. Всегда в профиль, только в профиль. Безнадежно вращай только одним

глазом. Величественно приподымай только одно веко. Одной рукою души жестокого. Одной рукою наигрывай чижи-ка на золотом органе искусства. Одним развесистым ухом рассеянно слушай гортанный голос бедной девы. Пусть никто не догадывается о том, что у тебя есть духовный опыт. Пусть одна сторона твоего лица движется, другая же вечно остается в неподвижности. Будь, как луна...

О, жалость к низшей жизни, жалость к глазам, которым больно от мелких букв. Жалость к сердцу, которому трудно подниматься по лестнице, и оно жалобно стучит, как матрос в железную стену.

Жалость к мозгу, которому хочется развлечений. Жалость к губам, которые ищут прикосновений. Жалость к дьяволу, тоскующему в костях, жалость к половому члену. Лицом к земле, головою в снег, слезы – сон.

Неподвижная перспектива крыш. Розоватые кубы домов. Неизъяснимая каменная тоска лета. Лениво и упорно, как гусеница, рояль издает гаммы. На нем кто-то что-то неумело разбирает. Как будто слышны чьи-то неумелые мысли, пытающиеся осознать жизнь. Они восходят на холмик. Они нисходят. Они сонно фальшивят. Они повторяются. Лето, пыльное лето. Самое метафизическое время на земле. Воистину спокойно. Воистину совершенно прекрасно и безжалостно прямо смотрят серовато-голубые глаза полдневного неба. Воплощение природы судьбы. Воплощение необходимости и согласия с богами. Свинцовая тишина вокруг, и только над

выступами крыш пряма, высока и безобразна, как цивилизация, ровно дымит фабричная труба. И ровно от нее отлетает и стелется теплый коричневый дымок. Дорогой пароход, не ведающий приключений, мне восхитительно покойно на жесткой и солнечной твоей палубе...

Ты шутишь, мой милый друг, и это значит, что ты исчезаешь. Ты плачешь, мой милый друг, это значит, что ты, наконец, счастлив. Ты величественно сжимаешь брови, и это значит, что ты побежден. О, нежность света, о, сладость мрака, шум любви, уходящей в песок. Дождь, дождь, дождь. Ты видишь: восковые фигуры сигнализируют шляпами в первом ряду крыш. Они заметили приближение солнца, разукрашенного ангелами, и приготовились делать искусство. Но крыши уносит наводнение равнодушия, и вы возмущены. Утешьтесь, утешьтесь. Сдайте свои книги в могилы, как мексиканские инсургенты лениво сдают свое оружие. Расстаньтесь с высокими шляпами и, нагибаясь, перестаньте быть. Тогда, наконец, оно захочет с вами познакомиться и положит ваши овальные головы на свою огромную розовую руку – и т. д.

Тем временем лето уже прошло. Оно клонилось к смерти, как клонятся ко сну могущественные императоры среди великолепия своих пиров. Никогда небо не было таким прекрасным и вечера такими удушливыми, полными голосов, сияний и шумов. На улицах слабые горожане с неестественно обожженной кожей демонстрировали ее с гордостью

нищих. Это были мелкие служащие, возвратившиеся с каникул. Но большинство магазинов еще плыло в прозрачное небо всеми парусами спущенных своих тентов. Даже витрины их были завешены выцветшими полотнищами, за которыми восковые манекены укрывались от растаянья. Еще тихо и торжественно было в опустевшем городе, как в оставленной войсками римской крепости. Мягкие асфальты по вечерам отливали фиолетовым и темно-синим цветом, а в воздухе сладостно плавал такой уже для меня родной запах котлов для варки асфальта и разлагающейся человеческой мочи. И поздно по вечерам уже стояло над Люксембургским садом, бесконечно продолжаясь в ночь, то особое, прозрачное изумрудное зарево, которое на закате солнца неминуемо предвещает осень. Бульвары уже сплошь покрыты были золотыми листьями, а иные сгорели уже давно, чуть ли не в мае.

И вдруг разом, как разом кончается юность или любовь и человек, выйдя утром на прогулку, вдруг замечает, что любимого образа уже нет подле него, так в одну неделю лето уступило, и синева, темная, грозовая летняя синева сменилась синевой высокой, прозрачной, осенней. Уже больше не повторялись бело-серо-голубые раскаленные дни, когда все было в покое безнадежного торжества земной жизни. Жара перестала быть чем-то объективным, как присутствие, и разом перелилось на улицу предсмертное оживление, которым горожане провожают лето. Оживление, уже полное печали,

явственной даже на лицах красных и измученных велосипедистов, которые на пыльных машинах возвращаются из загородных прогулок.

Мы по-прежнему проводили почти все время вместе. Аполлон Безобразов отирал пот и медленно произносил слова, как будто думал вслух; потом, наклонив голову вбок, прищурившись, смотрел вдаль. Мы жили тогда уже не в полуразрушенном доме, а в квартирке при цветочной лаборатории Авероэса. Впрочем, магазин был заперт на лето и навсегда. Под широким потолком из матового стекла, сквозь который желтым пятном палило солнце, диковинные тропические растения умирали, отравляя воздух тяжелым сладостным смрадом. Иные же разрастались, повсюду свешивались их воздушные корни, они душили соседей; но и их ждала одинаковая гибель зимой, ибо лаборатория ликвидировалась. Давно уже покрывались пылью сложные алхимические аппараты, над которыми неподвижно и так долго и с такою любовью склонялся когда-то Аполлон Безобразов, то выращивая и прививая отвратительные неведомые виды орхидей, то медленно отравляя беззащитные белые ткани роз сложными бесцветными газами.

– Все это мы увидим на *Marché aux puces*<sup>66</sup>, – смеялся Безобразов.

Какой чуждой сразу сделалась и эта лаборатория, и раскаленный осенний город! Мы уезжали. Зевс увозил свою гирию,

---

<sup>66</sup> Блошинный рынок (*фр.*).

Безобразов свои шары. Тереза надела вытертую лошадиную шубу. Мне же было все равно. У меня ничего не было. И я наслаждался тем, что мне все равно и что у меня ничего нет. Голубой утренний ветер свистал у меня в ушах, повторяя: «Ничего, ничего нет». И слова эти входили мне в сердце тем острым горестным утешением, которому научила меня Тереза. Это у нее была такая манера, доводившая меня чуть не до слез: очень долго вполголоса повторять какую-нибудь печальную фразу, все тише и тише, по-разному, но все с большим горем ее произнося, как будто все ниже и ниже к чему-то склоняясь и сдаваясь окончательно.

Быстро скользили мимо нас высокие розовые фабрики, в утренних лучах подобные светлым гранитам фиванских храмов. Туда, за пределы, где Нил вытекает из подземного мира, подобно монахам, спешащим в церковь, рабочие в голубых куртках шли на службу. Они перекликались. Тихо звонили трамваи, и уже солнце вставало в бессмертном своем обаянье.

И вот уже астры цветут в предместьях, маленький ослик ест что-то среди консервных коробок на бруствере разрушенного форта, и поют гудки, а вдалеке высоко над Парижем уже стоит темное море фабричного дыма. А могущественная машина несет нас вперед и вперед, вырываясь из-за поворотов, как время, поворачиваясь на всем скаку, как длинногривые кони Гесперид.

Мы глубже надвигали фуражки и шляпы, мы молчали,

немые и неподвижные, как фигуры на колесницах. Аполлон Безобразов правил автомобилем. Он был спокоен. Особое выражение его лица еще усугублялось тем, что он безостановочно перетирал жевательную резину. А я все хотел понять что-то напоследок. Но это были жалкие попытки. Конечно, судьба была выше меня. Она была во всем. И в энигматическом жесте прохожего, смотрящего с моста на убегающий поезд, в торжественном блеске утра, в лиловом асфальте дороги, и в глухом и угрожающем шуме мотора, похожем на рев моря. Она таилась в свисте подшипников и колес, она сидела на пальцах шофера, она странно и победоносно возглашала в гудке, а сзади неслась другая машина, нагоняя нас, не давая нам остановиться. И все провожали нас глазами, как свидетели некоего похищения. Быстро уносимая тридцатью механическими лошадьми, Тереза сумрачно смотрела вперед, и вновь казалось, что ей тысяча лет, а нам десять.

Лето мы провели на Лаго ди Гардо. Замок, в котором мы жили, был настолько велик, что редко кто-нибудь из нас встречался в его столовой. Я проводил свое время на каменистом пляже за чтением газет и иллюстрированных журналов, присылаемых со всего света. В горячей и тусклой воде спали большие рыбы, которых никто не пытался ловить. И только раз в день к вечеру далеко от берега проходил белый колесный пароход с большим швейцарским флагом на корме, и долго я слушал, как мерно раздавалось сложное чав-



канье лопастей, постепенно затихая и смешиваясь с треском кузнечиков. Потом где-то далеко рождался гудок; это паромост остановившись около соседней деревни, откуда пассажиры, за неимением пристани, подъезжали к нему на лодках. В общем, я плохо переносил жару и долго спал днем в полутемной комнате, где на паркетном полу рядами лежали солнечные полосы жалюзи. Потом, полуодетый, я шел в библиотеку, где, как в сон, погружался в перелистывание переплетенных журналов времени Всемирной выставки и Боксерского восстания.

Тереза и Безобразов иногда надолго уходили в горы. Там они садились на камень и часами разговаривали. Высоко воздух спал среди белой мглы. Озеро внизу было серым и лоснилось, как олово. Кругом был удушливый запах вянущих кустов и горячей земли. О чем они говорили? Никто не знал этого. Авероэс в белом костюме беседовал с Зевсом в своем обширном алхимическом кабинете, который, вместе с библиотекой, занимал древнейшую часть строения. Остальная часть замка относилась к наполеоновским временам. Авероэс любил говорить с Зевсом. Обоих интересовали вопросы политики и политической экономии; они, как астрономы, с любопытством следили за падением кабинетов и за ростом кризисов, предсказывая Европе страшную судьбу. Во взглядах они сходились. Это было абсолютное нравственное отрицание и капиталистического, и коммунистического строя.

Последнее время я вообще никуда не выходил. Окруженный собаками, к которым чувствовал свою душевную близость, я читал Чехова на балконе, заводил автоматический рояль в зале и в розовом сумраке слушал его среди чехлов, пахнувших нафталином. Ибо моль царила в замке. Боже мой, как пронзали мне сердце старые довоенные вальсы из немецких опереток, под которые я так тосковал гимназистом на бульварах и катках, совершенно одинокий, слабый, плохо одетый, лишенный знакомых. Вся душа довоенной Европы в последний раз сияла в них вместе с отзвуками Вагнера и Дебюсси и призраками Метерлинка, Дрейфуса, Жореса и Сары Бернар. Воистину, ничего, ничего не осталось от этого мира, развратного и нежного, дурманящего и горького, как абсент. И помню, раз среди одного из таких спиритических сеансов, когда я, разморенный жарой, прищурившись, созерцал, как сами собою опускаются клавиши, и неземные и расстроенные звуки, как плохо проснувшиеся Елисейские тени, развертываются из облупившейся белой полированной крышки пианолы, вдруг перед моими глазами начала медленно перемещаться потемневшая мифологическая картина, занимавшая простенок (все это со странным механическим стуком), и из-за нее вышел скучающий Аполлон Безобразов, занятый исследованием подземелий замка.

Часто в лодке, далеко отъехав от берега, я думал о Терезе. Слегка наклонившись, отчетливо можно было видеть бледно-голубое каменистое дно. Оно было почти голое, и только

параллельными рядами, как будто нарисованные, ползли и отдалялись тонкие водоросли. Далеко в озеро выходила белая лестница, которой оканчивался великолепный парк соседнего замка. Маленькие алебастровые львы неподвижно смотрели в разные стороны, и одиноко на стриженной лужайке белела мачта для флагов. Солнечная тишина наполняла озеро. Свесившись над водой и полоша руку в теплой и чистой воде, я думал. И часы проходили, не принося никакого разрешения моим вопросам.

Что привлекает ее в этом каменном человеке? Разве можно разговаривать со статуей, с железнодорожным расписанием или с дельфийским оракулом? Чужой Безобразов всему живому. Разве что воде или воздуху близкий. И что ему до нее? Разве он не солнечный гений, который, по учению древних, просыпается ровно в полдень – Меридианус-Даемон – и славит вечное совершенство солнечного движения? Призрак! Не заболевает ли всё в его присутствии этой странной рассеянностью, этим смертным равнодушием, этой манией загадочных улыбок и многозначительных поз. Обманщик!

«Я делаю вид, что знаю то, чего не могу знать, и хочу то, что не может не случиться». Позер! «И жить и умирать неприлично». Умер бы, попробовал бы, или пожил бы на мгновенье. Восковая голова! Гипнотизер, недоучка! Смотри, доведешь ты кого-нибудь до исступленья. Боже мой! Боже мой! Что может она любить в нем? Разве железное колесо достойно любви? Солнечный сумрак ее искушает. Да и не

ест ничего! Но как спасти больного от болезни, если он обо-  
жает эту болезнь? Да и любит ли она его? Она жалеет его, но  
за что его жалеть? Разве он не счастливее ее? Суются эдакие  
жалеть, у самих еле душа в теле. Тереза! Тереза! Ничего я  
не понимаю! Не нужен я никому! Но больно мне, страшно и  
пусто мне. Разве растопить дыханием ледяную гору? Ничто  
ему не поможет, ведь он просто не понимает, что нельзя сла-  
вить золотое колесо, когда между зубцами его столько боли  
и ужаса, столько позорных одиночеств.

Казалось мне вдруг, что моя нищета, моя унижительная  
тоска и неспособность ни к какому самопринуждению более  
достойна ее жертвы. И почему это всегда в мире все жертву-  
ется тем, кому ничего не нужно? Значит, и она от мира. Ах,  
и Христос ошибался! Не возложил ли он себе на грудь пре-  
красную голову Иоанна? Нет, не Иоаннову, а Иудину гряз-  
ную голову должен Он был к сердцу своему прижать: так,  
действительно, пожалел бы Он обездоленных. Не выше ли  
всякая Марфа всякой Марии? То же я говорил и Терезе. Она  
молчала; глаза ее медленно поднимались к пыльному небу,  
будто ища защиты. Но небо слепило ее, и она закрывала их.

– Я пытаюсь устыдить его. Страшный он человек...

Слабая и нежная, разве могла она поднять на него руку?  
Легче ласточке заклевать волка. Бедная ласточка, сколько  
кружилась и билась ее мысль, как укоряла она его, как звала  
к чему-то. Нет, он не переставал улыбаться; прихотью и ме-  
тафизическим спором все это казалось ему.

– Безобразов, мне голоса говорят о том, чтобы я уходила, как Он от вас ушел, но кто же вас защитит от другого? Или вы сами – тот, другой? Кто же тогда защитит Зевса и этого нищего духом? Боже мой, Безобразов, ведь умереть вам так нельзя!

– Убейте вы меня! Что, не смеете погубить душу свою для Васеньки? Рано вам еще по-взрослому разговаривать.

Тереза молчала. Она теперь все меньше выходила из комнаты, и раз случайно увидел я из окна кухни, что она лежала на полу и молилась.

А Аполлон Безобразов придумывал новые зловещие игры. Теперь он совместно с садовником размуровывал в подвалах замка входы в подземное кладбище. Они находились в глубочайших подземельях, уходивших больше чем на километр в глубь горы; но на самом дне их он нашел еще замурованные галереи. Куда они вели? Этого никто не знал. Эти подземные залы имели долгую и сложную историю. Некогда они принадлежали монашескому ордену, который использовал находящиеся на этом месте развалины древнеримских каменоломен. Но крепость была разрушена до основания во время религиозных войн, и только башня-библиотека относилась к ней. Возможно также, что в этом монастыре имела убежище какая-нибудь мистическая секта типа Розенкрейцеров, во всяком случае, в подземелье, кроме оружия и кладбища, сохранилась также часовня, стены которой были украшены пятиугольниками и иероглифами, с примыкающими к

ней маленькими келейками, откуда винтовые лестницы выходили к подземному ручью, неведомо откуда и куда протекавшему. В иных часовнях все стены и утварь были облицованы и сделаны из человеческих костей. Аполлон Безобразов сам проводил электричество, укреплял своды, расчищал лампы и алтари. Он говорил, что чувствует особый вкус ко всему находящемуся под землей и мечтал бы жить в комнате, находящейся на сто верст в глубину. Увлекался он также средневековыми поэтами и поэтами Возрождения, писавшими о средневековье. Читал латинские книги по медицине, схоластическим вопросам и технике осад. И часто ходил по двору и ездил на лошади в полном рыцарском вооружении, которое, начищенное мелом, ярко блестело на солнце, испытывая тяжесть панциря и специальное ощущение человека, изнемогающего от жары и не могущего даже почесаться. Затем он и Зевс рубили мечами поленья. А в этот раз, когда под дребезжащие звуки пианолы он вышел в гостиную из раздвинувшейся стены, он был одет в полное католическое облачение, хотя и с папиросою в зубах.

После этого он увлекся водолазным искусством. Помню, как он с восторгом рассказывал, как сияющими полосами преломляется солнце сквозь воду и постепенно темнеет и зеленеет вода на большой глубине. Недалеко около нас, но на глубоком месте под водою находились какие-то римские развалины. И в тихую погоду были ясно видны на дне обломки колонн и стен. В водолазном костюме, предназначенном

ранее для починки подводных частей замковых сооружений, он так долго не возвращался на поверхность, что чаще всего Зевс, не дождавшись сигнала, против его желания вытаскивал его, иногда уже в полуобморочном состоянии, с лицом, измазанным кровью, протекающей из носа и ушей. Это мы с Зевсом, сидя на плоскодонной лодке, вертели колеса воздушного насоса и следили, опрокинувшись, как он отдалялся по железной лестнице, достигал дна и то медленно шел, то останавливался в необъяснимом раздумье, как будто мечтал.

И все-таки ему удалось извлечь со дна бронзовую фигуру какого-то неизвестного героя с глазами из драгоценного стеклянного сплава и в фригийской шапочке, сходство коего с Митрой давало совершенно новый смысл существованию подземелий. Но от перенапряжения сердца он заболел. Он лежал в библиотеке перед открытым окном, читая Бомбакса Парацельса, Великого Кунрада и «Философического человека» графа де Сен-Мартена, к которому относился с величайшим уважением. А также древних: Апулея, Проклуса, Филона и Секста Эмпирика. Но вот состояние его столь ухудшилось, что он даже не в силах был следить за колесными пароходами там, далеко на озере, и целыми днями лежал с закрытыми глазами и даже не отбивал больше время в старинный золоченый колокол, как он это так любил делать, приговаривая при этом вполголоса смешные и непонятные фразы. Особенно он любил отбивать полдень и говорил, что это самая счастливая минута его дня. Он делал это очень мед-

ленно, закрывая глаза после каждого удара, ибо верил, что в полдень мир становится совершенным и близок уже к исчезновению.

К этому времени относится следующий рассказ Терезы. На раскаленном закате подозвал он ее, задремавшую в кресле, и, вынув из-под подушки револьвер, усталым жестом протянул ей.

– Я, кажется, начинаю заниматься глупостями, Тереза, – сказал он, – подземельями и магией... Нехорошо человеку переживать золотой свой час. Мир уже был совершенным вокруг меня. И жаждет душа моя из музыки прочь. Вы христианка, Тереза, освободите меня, пожалейте мои лучшие дни.

Затем он вложил ей в руку браунинг и взвел предохранитель; и может быть, только судьба спасла его на этот раз, ибо первый порыв ветра налетающей грозы вдруг захлопал всеми дверями и тентами, и в туче пыли жалобно задребезжало и посыпалось разбитое стекло. Вдруг очнувшись от пагубного очарования, Тереза с отвращением, как змею, бросила браунинг на пол, и он, по странной случайности, выстрелил два раза, ударившись о камень и подпрыгивая, как живой. Тотчас же в комнату вломился Зевс, тоже дремавший в соседней столовой, высоко задрав свои башмаки, сорок седьмой номер, на подоконник.

Он, как маленькую собаку, поднял Терезу на руки и, дико озираясь, вынес ее в столовую как раз в то время, как я успел,



всклокоченный, прибежать из своей комнаты. И, очевидно, предполагая, что я как-то замешан в происшествии, он своей огромной ладонью сгреб меня за отвороты куртки, рубашку и галстук и незаметно для себя сотрясал меня с такой силой, что я буквально плясал в воздухе, крича и вопрошая. Но что знал я? Тогда он бросил меня в кресло и, потрясая кулаками, заревел:

– Изверги! До убийства дошли со своею мистикой! Допрыгались, притворщики, ах, будьте вы прокляты! – И он одним взмахом смел с камина монументальные часы и четыре подсвечника. – Уйду я от вас! Насилуйте, убивайте здесь друг друга!

И действительно, он с силой распахнул стеклянную дверь на веранду, но еще раз случилось нечто необычайное. Вдруг безумным светом вспыхнуло все кругом, и прямо перед балконом молния с грохотом ударила в белую мачту для флага. Зевс попятился и инстинктивно закрыл окно. Он прислонился к нему спиной и ошалелым взором осмотрелся кругом. Как будто тысячу дьяволов рвались в комнату и напирали на дверь. И он один своею монументальной спиной загораживал им доступ.

## Глава XIII

*Le Leviathan s'avangait vers nous avec tout  
l'emportement d'une spintuelle existence.*

*William Blake*<sup>67</sup>

Такое счастье проснуться в летний день, когда из-за спущенных штор сквозь щелки и щелочки проникают горячие солнечные лучи, горят радугой в пыльном гранении стакана для мытья зубов, зайчиками повторяются на потолке. Как легко тогда спрыгнуть с мокрой от пота постели, с которой душною ночью смяты и сброшены простыни, и, мягко ступая по нагретому паркету, раскрыть, распахнуть окно. Внизу, прямо за подоконником, покрытые пылью магнолии и длинные гряды роз осыпаются в неподвижном воздухе. Дальше иссохший фонтан, где мраморный Меркурий с отбитой рукою и голубем на голове неподвижно смотрит в серо-солнечный безбрежный горизонт, где в этот час нелегко отличить, где кончается вода и где начинается небо. Прибрежные горы кажутся облаками, облака – снеговыми горами, до того солнечной пылью насыщен воздух.

А там, налево, замковый сад вдруг обрывается, чтобы вновь продолжиться огородами за расщелиной улицы, куда

---

<sup>67</sup> Левиафан шел на нас со всем неистовством своей духовной природы. *Уильям Блейк (фр.)*.

не достигает солнце и откуда несется легкое цоканье неподкованных копытец, одинокий голос, лукавый смех. Улица круто спускается к озеру, она непроезжая, и в конце ее прямо на мостовую среди пробок и мусора вытащены пахучие рыбачьи лодки.

Как хорошо на солнце бесконечно долго чесать голову, грудь или промежности и, не сходя с места, мочиться прямо на кусты под окном.

Так именно, ни о чем не думая, я стоял, освобожденный на миг от своего бытия солнечною и водяною далью, когда, вернувшись за чем-то в свою комнату, я засмотрелся на колесный пароход, который, тормозя колесами, шумно пенит воду. И вдруг из щели улицы донеслось высокое, хрипловатое, но чистое латинское пение. Там, окруженный детьми и стоя у стены, бродяга пел о Пречистой Деве.

Stabat Mater dolorosa Juxta crucem lacrimosa, Dum  
pendebat filius...<sup>68</sup>

Бродяга пел высоко и усердно, закрыв глаза и покачивая головою, а потом изменил мотив и, низко склонив ее, запел «Реквием» Моцарта:

Laacrimosa... Miserere. Requiem, requiem Dei...<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Стояла скорбящая Божья Матерь, Обливаясь слезами, у креста, А тем временем Сын висел... (лат.).

<sup>69</sup> Обливаясь слезами... Жалкая. Дай Бог покой вечный, вечный покой (лат.).

Пропел и опять, покачивая головой и помахивая руками, замолчал. Наконец, вдруг, опираясь о стену, сполз на землю и, сев на нее, опять заголосил:

Laacrimosa!<sup>70</sup>

Явно он был юродивый, но когда-то знал и лучшую участь, ибо слишком чисто пел и красиво произносил. И, преисполнившись вдруг странной жалости к нему, молодому, но грязному, одетому в невероятно разорванную рясу, я выпрыгнул в окно на клумбу и оттуда по лесенке вниз на улицу.

Бродяга продолжал сидеть у стены, дергаясь как-то немного, и, услышав мои шаги, протянул, не глядя, железную кружку, сделанную из консервной банки, и сказал на чистом французском языке:

– Pitié pour le fou<sup>71</sup>.

Вместо денег, которых у меня не было, я спросил:

– Вы француз?

– Нет, я из промежуточного мира.

– Как вы говорите?

– Я не говорю.

Сказав это, он встал и, покачиваясь, торжественно запел:

---

<sup>70</sup> Обливаясь слезами! (*лат.*).

<sup>71</sup> Пожалейте сумасшедшего (*фр.*).

Jesus s'en va en terre Miron-ton, Miron-ton, Miron-taine Jesus  
s'en va en biere Dieu sail quand il revivra...<sup>72</sup>

– Послушайте, – сказал я ему, смутившись, – зайдите к нам, мы здесь в гостях, – указал я на замок. – Мы посидим на кухне.

Сумасшедший, начавший было отдаляться, остановился и, как будто перестав притворяться, сказал:

– Ну что же, пойдем, посидим в кухне. И, идя за мной, повторил еще раз:

– Ну что ж, посидим, посидим в кухне.

Вход в кухню был через маленькую дверь немного подальше. Войдя в полумрак, мы увидели Зевса в фартуке, совещающимся с поваром. Они были друзьями; ругаясь каждый на своем языке и часто чеша бороды, играли в тени в трик-трак. Зевс любил этого старика-повара и изумлял его своими кулинарными талантами.

Увидев человека в рясе, Зевс густо захохотал:

– Ты где это Божьего человека выкопал, да он, поди, и не жрет ничего поганского. – Но видя, что странник уже жует подобранную с пола сырую морковь, наставительно прибавил:

– Ишь, харчит братишка... Ну, погоди, сейчас пойду скажу, чтобы шли жрать. – И Зевс, не снимая фартука, пошел

---

<sup>72</sup> Иисус идет под землю, Тра-та, та-та, та-та! Иисус ложится в гроб. Бог вещь, когда воскреснет... (фр.).

за своим другом Авероэсом.

Странник за обедом, который происходил в кухне, подземной, сводчатой и прохладной, слабо освещенной стрельчатыми окошками, ел все без разбору и молчал, не отвечая на вопросы. Он, казалось, спал за едой и только иногда принимался напевать что-то, махая в воздухе руками. Все мы следили за ним. Безобразов, который ел мало, с невежливостью размышляющих смотрел на него, не отрываясь, и, казалось, именно из-за него странник закатывал глаза. Зевс, заметив это, неодобрительно кряхтел и, наконец не выдержав, недовольно спросил:

– Ты что уставился на него, змея рогатая?

Тогда Безобразов, видимо, глубоко отсутствуя, перевел взгляд на Зевса, не видя, в упор посмотрел на него и опять, уже забыв сказанное, погрузился в рассматривание нового человека; потом вдруг он сказал по-русски Зевсу:

– А ты его спроси, зачем он?

Но странник, привыкший притворяться и зубоскалить и, видимо, проникшись расположением к Зевсу, вдруг как-то странно запел:

Рожество Твое, Христе Боже наш.  
Радуйтесь, радуйтесь!

И опять замолчал.

– Да ты кто таков? – грозно насупившись, спросил его

Зевс, вдруг сделавшись серьезным.

Монах не отвечал, видимо, не понял. Поев, он почувствовал усталость, начал дремать и вдруг, соскользнув на пол, заснул подле, свернувшись на половике.

– Пушай спит, – сказал Зевс, – ты его на кровать не тащи, ему так способнее, только смотрите, чтобы его собаки не обоссали.

Вечером Зевс собственноручно выкупал монаха в фонтане, к чему тот отнесся совершенно безучастно, матерински остриг его и побрил, крепко держа за нос, как огромная нянька, ибо, видимо, с самого его появления считал Божьего человека как бы своею собственностью.

Мыля ему голову, он наставительно приговаривал:

– Крепись, монах, стой, монах, твердо, терпи, монах. У нас монах – лесоруб, пчеловод-монах, дегтярник, а вы – народ несерьезный.

Вымытый и выбритый, но все полуспящий, голый монах сох на солнце. Он был не волосат, черен от загара, но красиво и слабо сложен. К телу своему он относился настолько равнодушно, что, если рука его или нога случайно занимали неудобное или нелепое положение, он очень долго не догадывался его изменить. На вопросы он по-прежнему не отвечал. Однако Зевса каждый раз приветствовал не то кудахта-ньем, не то лаем, дрыгая слегка ногою, и опять казалось, что он притворяется.

Оставив его, как ребенка, на дворике, Зевс невозмутимо

продолжал свою ежедневную работу: пилил дрова, чистил картошку, окапывал и поливал из шланга цветы. Этот добрый и недосыгаемый простой человек, как медведь в снегу, чувствовал себя на солнце. Сельский житель, он не страдал от своего полнокровия. Копал, колол, таскал что-то целыми днями, и все мы, путаясь в своих отношениях, проще и теплее всего любили его. Тереза с высшей благодарностью какой-то постоянно, Безобразов, всегда охотнее всего с ним разговаривая и даже вызывая его на разговоры, чего никогда ни с кем не делал, я же – чувствуя подле него какую-то абсолютную безопасность. Время от времени Зевс менял положение, любовно поливая каждую ветку, каждый цветок.

Солнце было то же, оно все еще пекло, и вдруг из низкой двери кухни на гравий двора вышла Тереза. Долго странник не замечал ее, тоже стоявшую неподвижно и остановившимся взором пристально глядящую на него, голого, перепоясанного лишь полотенцем, как евангельский рыбак, и вдруг он приоткрыл глаза, расширил их до нормального, перешел нормальное, выкатил до ненормального, перешел и этот предел и, как бы сорванный с места постороннею силою, поднял руки и, глухо ревя что-то, бросился на колени. И в то же мгновение, вместо того чтобы испугаться и отпрянуть, обливаясь слезами и ломая руки, Тереза опустилась на колени перед ним, и оба они, обнявшись, заплакали, как малые дети.

– Роберт, Роберт, что они с тобой сделали! – твердила она.



– Матерь Небесная, ты снова со мною! – бормотал он.

## Дневник Терезы

*1 июня.* Я так одинока среди тех, кому я не могу помочь, и тех, кто не хотят моей помощи, что, найдя эту выцветшую чистую тетрадь в библиотеке, я буду в ней что-нибудь писать. С пером в руках как-то сразу стареешь, как будто все уже случилось давно. Утром опять разбирали библиотеку, устали, перемазались пылью. Вытащили много рукописей и рукописных книг из ящиков. На грудах их погрузились в бесцельное рассматриванье. Как жалко все эти книги, как будто какую-то обязанность чувствуешь относительно тех, кто их писал. И хотя их и невозможно прочесть (я читаю одну книгу в полгода), хорошо уже их держать в чистоте, о теле их заботиться, смотреть на них. Как красивы они на полках, освещенные вечерним отблеском. Ведь это уже что-то – смотреть на них часто из кресла, раскрывать иногда и читать страницу.

Но еще больше самих книг я люблю отметины на полях: сколько в них жизни, смысла, соучастия. Сегодня было жарко. Никто почти ничего не ел, кроме Тихона Ивановича. Вечером лежала на террасе и слушала пианолу. Все как-то уж очень хорошо здесь, и это не к добру.

*6 июня.* Все что-нибудь делают, и Тихон Иванович больше всех. А. раскапывает что-то в подвале. Аверозэс читает,

только я и Васенька ничего не делаем, все смотрим куда-то, он жалуется, а я молчу. Как щемит сердце от этой духоты, кажется, все сообщается, все растворено в ней – и стадо, пляшущее по дальней балке, и шум потока, и запах гниющих растений. Сегодня готовила лимонное желе, шутила с Тихоном. Какой он большой и добрый! Я только, кажется, тогда и счастлива, когда я с ним. А он так хорошо, презрительно-добродушно, со мной говорит:

– Хворая вы, и не жилица на свете.

– Что, разве помру скоро, Тихон Иванович?

– Нет, зачем? Нет. Сердце у вас хворое, как у кликуши. Вам заботиться надоть. Вот пироги, желе делать. Вы – горе-молчальница; смейтесь, балуйте больше. Вам и так все и без молитвы отпустится.

Это он мне раз только сказал. Он степенен, и горд, и аристократичен, как все дикари. Словом-рублем подарит. И почему это сильные слабых жалеют? С ним только и разговариваю. С Васенькой слова сказать не могу. Он того и гляди заплачет, и не о том все он, вернее, слишком о том, ему словом не поможешь.

*21 июня.* Были в горах, смотрели пещеры и родники. Жизнь бы сидела у родника и слушала. Тихон Иванович любит лес, а Васенька остался внизу, он совсем не переносит жары. А.Б. пошел купаться.

Ночью было страшно душно. Был гром без дождя. Было страшно даже. Поднявшись в библиотеку, я нашла А. и Аве-

роэса. Электричество было потушено, и они при свечах раскладывали свои карты. Там я сидела и заснула в кресле. Видела сон. Ходила по замку, кого-то искала и никого не находила. Вдруг сделалась ночь, повсюду загорелся свет, и по-прежнему никого не было. Только хлопали двери. Тогда я поняла, что все уехали. Что случилось что-то непоправимое, что я опоздала; и вдруг, открывши одну дверь, я чуть не умерла во сне. Там в комнате опять было это дерево, огромное дерево с человеческими сучьями.

*Четверг, 2 июля.* Так я живу, каждый день с утра решаю работать, наконец работать, сегодня работать. Молюсь, умываюсь, схожу вниз. Да! Сегодня! Переводить Иоанна Испанского на русский язык, написать письмо маме, зашить Васеньке рубашки. И вдруг опять А., пианола и вальс из «Веселой вдовы». И все хорошие решения тотчас покидают меня. Мне становится вдруг так плохо, так грустно или как-то вообще никак становится. Тем временем время идет. Неубранная посуда на запятнанной скатерти становится тяжелой, как железо, и нет сил жить. Так я сижу, сижу, слушаю в неудобном положении, не в силах двинуться, не в силах стряхнуть с себя что-то, пока Тихон И. не приходит со своими удочками, грустно смотрит на меня, кряхтит, убирает, подметает, собирает обедать. Что было бы, если его не было бы? Мы бы, вероятно, не ели неделю ничего, кроме абрикосов. Но разве могло быть по-другому?

*Среда.* И почему это в то время, как жизнь моя уходит,

как газ из проколотого воздушного шара, он все выше поднимается в воздух? Когда-то я молилась, мучилась, не спала ночей, и свету было ровно столько, чтобы не умереть. Нынче я почти не молюсь больше, встаю поздно, ничего не читаю, и вдруг без всякого повода становится так хорошо, что неизвестно, как перестать плакать, и всюду – в саду, на террасе и во время обеда. Как я тогда обожглась супом, это было тоже поэтому. И Васенька опять понял, и мне было сумрачно оттого, что он понял. Зачем он меня так любит? Ведь то, что я могу, совсем земное или совсем иное, ему ни к чему. А полюбить его? Разве я могу еще полюбить, когда уже я так люблю. Он добрый, слабый, и ему я нужна, а А. не нужна вовсе. И почему я так преданна ему, так долго уже и с таким страхом; от чего остеречь, чему научить хочу его? Разве его можно научить, разве камень, облако можно научить, а он так же совершенен и невиновен в своем зле, как камень и облако. Давеча во сне я еще видела, что волосы его уже горят и что все лицо его почернело. Боже! Боже! И почему мы не встретились раньше, когда он был еще человечески слаб и несчастен, ведь он был таким! И еще не принял холодных и ярких дьявольских своих утешений.

Сегодня я спускалась с ним в подземелье. Там в одной комнате есть два пустых каменных гроба. Так бы лежать с ним рядом и ждать Страшного Суда. Ведь души только после Страшного Суда воскреснут, то есть тела, не знаю уж как. Года и года, сложив руки на груди, лежать с ним рядом. Я

сказала ему, а он мне:

– Я хотел бы, чтобы меня сожгли.

*10 июля.* Жизнь бессмысленна и пуста, когда она осмысленна и занята, заполнена. Когда она пуста, среди угрызений совести, скуки и грязной посуды что-то яснее понятно и видимее то, что невидимо за смыслом. Так оно и случается, и тогда плачешь, плачешь. Нехорошо, может быть, что я так люблю плакать, но это единственное земное утешение, которое и Иисус не отвергал.

*11 июля.* Как странно. Я никого не любила еще и не ждала, однако мне все кажется, что Царство Небесное – это после долгого ожидания под дождем увидеть вдруг быстро идущего любимого человека. Ад же – вечно ждать и чувствовать, что делается все позднее и позднее и что он уже не может прийти, и, вместе с тем, не мочь сойти с места.

Но как странно: после Иисуса я сразу больше всего люблю дьявола. О, если бы он раскаялся, думаю я, он возвратился бы в небо со всеми тайнами преображенного горя и стыда; и не слишком ли благополучны ангелы.

Я читала где-то, что Рай – это продолженное в бесконечность разрешение чувственного соития. Когда уже ничего не помнят и ничего не страшно. Но я думаю, что это не так, ибо разве можно, не умирая, больше радоваться, чем когда после долгого ожидания видишь, наконец, того, кого любишь, или берешь его за руку: это сразу самая высокая нота, и нет сил для большего.

*15 июля.* Прижать к своему сердцу Иисуса великое счастье, но прижать к сердцу Люцифера еще прекраснее, ибо Люцифер глубже страдает и обречен огню. Не святого, а изгнанного и падшего любишь. Искупить Люцифера, вот что хотела бы я, если бы была Марией. И вот я помрачаюсь от этой надежды и от слабости своей. Ледяную гору слабою грудью не растопишь, а только обледенеешь, умрешь.

Да, я люблю Люцифера, однако это не беспокойный демон, ищущий злого дела; так, может быть, преступив и пострадав, он понял бы Иисуса, как разбойник. Нет! Он – само зрение, и он видит Иисуса, но зачем ему лучшая из жизней, когда он вообще никакой жизни не ценит. Он хочет непоколебимости и покоя. Белый день. Надо идти обедать.

*18 июля.* Пришел Роберт, голый, безумный, покрытый ссадинами. Боже, спаси и сохрани!

*Вторник.* Боже, что хочешь ты от нас и о чем молиться Тебе? Нет, ни чистотой, ни силой, ни светом нельзя заслужить Тебя.

– У вас есть сила и свет. К чему вам Я?

Только нищетою. Значит, и любовью нельзя. Ибо что сделать, что дать, что сказать Тебе, любя? Умыть и накормить? Но среди обилия и услад умирают от сухости сердца. Так жизнь без любви не жизнь, а, любя, новая мука: бессилие помочь. Пожалеть? Но сердце жалеет за самую жизнь, и тот, кто, не замечая страдания и унижения, жил, вдруг через жалость Твою понимает, и жизнь становится ему невыносимой.

Жалость. Жалость. Простить Тебе этот мир, не осудить Тебя за него. Ибо Ты вложил нам в сердце всех утешить и утолить, но что не горечь в мире, кроме Тебя, кто может дать Тебя, кроме Тебя и священника? Я нища, и тайны Твои слишком глубоки для меня, и как часто я завидую ангелам, которые ни в чем не сомневаются, ничего не знают и вечно тают, как воск на солнце, как голос в хоре.

*21 июля.* Он быстро поправляется внешне, но глубоко и тяжело болен. Он притворяется, что он выздоровел, но я знаю, что безумие его уходит вглубь и становится еще опаснее. Он одевается, бреется, душится даже, но улыбка и голос совершенно деревянны и страшны. Может быть, уехать? Но нет сил. И так ждешь чего-то и чувствуешь постоянно, как он следит за тобою. Боишься чего? Не смерти ли? Нет, конечно. Но есть страхи более необъяснимые, более едкие, чем страх смерти. Это страх непоправимого греха, нестерпимой вины и ответственности.

Атмосфера в доме теперь сразу переменялась. Все поняли, но все стараются показать, что ничего не замечают, и от этого напряжение только увеличивается. Ибо Роберт только раз испугался, смирился и заплакал тогда на дворе, и опять болезнь охватила его с еще большей силой. Он замкнулся в себе, похолодел и весь превратился в зрение и слух.

Страшные красные закаты, бесконечные и душные, мучают меня. Пот льется и сердце стучит, ожидая чего-то непоправимого, что должно случиться, что должно случиться

очень скоро, и уже хочется, чтобы случилось скорее. Присутствие Роберта тяготит нас, ни смеха, ни разговоров, но все сразу поняли, что я должна ему, что он имеет право, что это расплата.

Каждый день он и А. Б. спускаются в подземелье, и только тогда я отдыхаю, но уже новые страхи мучают меня.

*Понедельник утром.* Дождь идет, и я вспоминаю, что он говорил. Он был откровенен и, видимо, рад объясниться со мною. Однако это в самом начале. К концу же Безобразовщина, ледяная и торжествующая, опять победила, и мне стало так плохо, что буквально задыхалась и даже не могла плакать. Ночью кровь горлом. Должно быть, от волнения.

– Вы говорите, надо было давно объясниться? Но разве вы в чем-нибудь сомневаетесь? Я... ни в чем! *J'ai accepte la situation. Je l'ai subie, et c'est tout*<sup>73</sup>. Юноша этот привязался ко мне, потому что главная мука его – страх. Я же не боюсь ничего, ибо не жду ничего особенного. Я всем доволен, мне все нравится. Но от страха живут, а освободившись, вешаются. Но вы, что занимает вас во мне? Я даже не негодяй и во все не мечтатель. Я просто зритель. Я легко думаю о вещах и мало о самом себе, и мне это не стоит никакого усилия. Это у меня рождается совершенно произвольно. Я зритель своего мышления. Мне трудно вам объяснить... В разуме мало личной жизни.

– Я знаю, вам всегда было больно от меня и оттого, что я

---

<sup>73</sup> Я принял ситуацию. Я подчинился ей, вот и всё (*фр.*).



ничего не хочу. Но я счастлив по-своему. Есть столько глубоких людей и книг в мире, но какое мне до них дело! Они мне не нужны. Жалеть же их ни к чему, ибо невозможно помочь и нужно, скорее, учить их обходиться без жалости, быть непоколебимыми. Мир суров и прекрасен для зрителя. Но едва забудешься и пожалеешь его, он становится невыносим. Вы заметили, вероятно, что я ничего не читаю и даже не думаю, ибо вслед за жадной жизни скоро угасает и жажда знания. Покой и добродушие воцаряются, но я был очень несчастлив в детстве. И что тоже со мной бывает: я часто как-то вовсе отсутствую, будто засыпаю наяву. Этому можно даже научиться, если очень долго стараться ни о чем не думать, фиксируя какую-нибудь точку. Тогда с открытыми глазами я освобождаюсь от себя. И вся жизнь освобождается от себя во мне, и если бы я умер в этот момент, я даже бы и не заметил. Когда я вас жалею, мне хочется и вас научить тому же, но это значило бы вас убить, то есть уничтожить в вас то постоянное болезненное внимание, почти отчаянье за всех окружающих, и хотя я счастлив по-своему, больше всего вам больно за меня. Поймите же! Все для меня уже было, было; в едином логическом заключении скрыта до конца вся космическая диалектика, в единой капле любви все тайны любви, но я знаю умом, что в любви тайны ее – ничто. В любви сама любовь нужна. Да! Любовь – самое сладкое и возвышенное бытие, но она все-таки бытие и жажда.

– Что до Зевса, этот талантливый мужик тоже не замечает

боли, он, как фресковый персонаж, никогда не принимает ее всерьез. А юноша этот, сделайте для него что-нибудь! Собственно, есть такие души, чем выше они, тем ближе к людям, всех их несут в сердце. Я же, наоборот, сколько бы я ни хотел в свои высокие минуты, я никого не помню, потому что уже давно не помню и себя. Это как, скучая в пустой вечер, зайдешь в кинематограф, но свет загорится – и где все тени?

– Вот вы все чего-то ждете от меня и как будто сидите вокруг черного ящика и все ждете, что что-то из него вырвется и раскроется, но ящик сей сделан из цельного дерева и вообще не имеет человеческого содержания, как не имеет и человеческой пустоты.

– Я думаю, что нам именно не надо объясняться. Ведь вы всегда видели меня насквозь, и я вас, и вообще каждый человек видит все мироздание насквозь, во всяком случае, во всем, что его касается, и если бы люди не уставали на десятый час разговора, все тайны Бога и мира были бы раскрыты.

– Но к чему это? Помню, я читал где-то у араба Альгазеля, что раз, выходя из ворот какого-то города, Иисус увидел человека, который спал на земле, завернувшись в плащ. Разбудив его, Иисус: «Что ты спишь и не думаешь о царстве небесном?» А тот ему: «Не беспокой меня, я давно уже умер и к этой жизни, и к райской». И сказал Иисус ему: «Тогда спи, спи, мой друг».

*4 августа.* Что Ты хочешь от нас, Господи? Ни любовь, ни вера Тебе не угодна, ибо те, кто имеют хоть какие-то ни

было утешения, далеки от Тебя. Только нищета наша, только смерть наша может Тебя принять.

Да, так... так и будет А.Б. до конца дней таиться и немотствовать, и никогда эта страшная сила не вернется к жизни, не просветит, не организует окружающего, никого не научит, не объяснит страдания, страха, бессмыслицы смерти.

Да, вероятно, так и надобно, ибо вот что он сделал с нами, а мы жили, любили, боялись, надеялись. «Блаженны нищие духом». Пораженная таинственным новым смыслом, который вдруг забрезжил над темнотой этой фразы, к концу разговора я вдруг перестала думать и притворилась спящей, и слезы скоро пришли мне на помощь.

Боже мой, Боже мой, соедини меня с самым темным, с самым страшным в мире, сломай, унизь и оставь. Но в последний час просквози в моем сердце тихим дыханием нездешней кротости, ибо то, что готовится, неизбежно настанет, но если бы знать, что готовится и кто готовит.

Роберт стал так сознателен, чист и любезен, слишком любезен, может быть, он все смеется и скалит зубы с А. Б., веселя его латинской своей чертовщиной, и каждый день после обеда они спускаются под землю. Как бы не случилось бы именно там чего-нибудь недоброго.

С тех пор как Роберт остался жить с нами, никто не спрашивал Терезу о нем, но все поняли, что это так нужно. Тереза ухаживала за ним и кормила с рук. Но он, казалось,

опять погрузился в свое шутовское оцепенение и как бы не узнавал ее больше, все напевая что-то с закрытыми глазами, бормоча и вдруг выкрикивая невнятно, но громко какое-то слово. Жизнь его была еще беспорядочнее нашей. В любой час дня и в любом месте он попадался нам спящим в любом положении: в саду, на карнизе, в садовом фонтане, на большом обеденном столе. Он ни с кем не здоровался, никого не слушал, не вмешивался ни в какие разговоры. Но все же какая-то неуловимая деланность была во всех жестах, и по временам мне казалось, что он совершенно нормален и просто притворяется. Затем он принялся за книги Авероэса, он читал их целыми днями, а ночью рассматривал звезды в громоздкий медный телескоп устарелой конструкции или раскладывал бесконечные пасьянсы. Ночью он ходил по коридорам, длинным и узким, не то страдая лунатизмом, не то просто любя лунный свет. Открывал окна и, шутя, подолгу стоял перед дверями комнат, тихо водя рукавом по дереву. Но это мучительство ему пришлось оставить после того, как несколько раз разбудил весь дом, гоняясь за ним по лестницам.

Но Безобразов, казалось, полюбил его. Они вместе раскладывали карты Таро и, видимо, интересовались друг другом. Вместе, совершенно не разговаривая, катались на лодке и купались с нее, далеко отъехав от берега. Вскоре Роберт подстригся, стал открывать глаза, оделся в приличное платье.

Но он все-таки странно себя вел, на мой взгляд. Он появлялся вдруг из-за угла и тотчас же пропадал куда-то, стоял под окнами и неслышно ходил в фетровых туфлях. Мне было совершенно ясно, что он следит за кем-то, выжидает, старается понять. И действительно, он следил за Терезой, хотя почти не говорил с ней и всячески старался это скрыть. Но что хотел он узнать и почему безумие его переменяло направление, сосредоточилось на одном и он приобрел внешнее благообразие? Кто мы, окружающие ее, хотел он знать, и сразу, или очень скоро, он понял и отстранил из своих подозрений меня, Зевса и Авероэса. И все же он ничего так и не понял бы, настолько внешне безразлично держали себя Аполлон Безобразов и Тереза, если бы не завладел, украв, «Подражанием Христу», принадлежавшим Терезе, покрытым ее замечаниями на полях, а затем и дневник Терезы, которая ничего не умела прятать.

Тереза даже не искала пропавшего, она тоже тотчас же все поняла и вдруг сделалась мрачнее ночи. И только Аполлон Безобразов ничего по-прежнему не замечал.

Атмосфера в замке быстро менялась к худшему, но чем больше нарастала необходимость увезти Роберта куда-нибудь, тем больше привязывался к нему Безобразов и был с ним неразлучен, показывая этим свойственную ему удивительную нечуткость в человеческих отношениях – настолько он мало интересовался ими, не придавая им никакого значения.

Действительно, казалось, Аполлон Безобразов нарочно искал случая расплатиться и развязать все. Каждый день они опускались под землю. Они утвердили несколько сот свай и деревянных распорок, вытащили и вынесли руками сотни камней и корзин с землею, собрали множество костей, гробов и оружия. Они трудились, как чернорабочие, и иногда даже ели под землею, проводя свет, укрепляя и расчищая. Вечером же на большом столе они тщательно вычерчивали план погребов и галерей: некоторые до пяти раз заворачивали в глубине земли. Шутили и хлопали друга друга по спине. Казалось, они очень довольны друг другом, и, действительно, Безобразов был доволен, а Роберт очень доволен тем, что Безобразов доволен и вполне ему доверяется.

Душная летняя ночь царит над сторовшими пыльными садами. Ущербный месяц низко висит над горизонтом и кажется совсем близким. Роберт на башне вопрошает судьбу. Тяжелый старый телескоп, как медное орудие, задран к чернильному небу. Все молчит вокруг, все как бы притаилось, и ни одна ночная птица не подает голоса. Тусклые желтые лучи медленно поднимаются из-под земли и как бы нехотя освещают нижний край месяца. Все подавлено нестерпимым летним изнеможением.

Обливаясь потом, худой и всклокоченный, совершенно голый, Роберт, шепча что-то, танцует на каменной площадке. Потанцевав, нагибается, несколько секунд смотрит в

тусклый окуляр и опять, делая странные жесты, скачет, высоко подкидывая детородные органы. То, судорожно двигая пальцами, он делает какие-то пассы по сторонам, то, остановившись неподвижно и слегка присев, он медленно поднимает над собою худые голые руки и вслед за ними и сам поднимается, вытянувшись, став на цыпочки; он как будто старается достать что-то, висящее над ним, резко подпрыгивает, и опять возобновляется скачка.

Время идет, месяц скрывается за горою. Долго лежа на острой вершине, Роберт в диком напряжении продолжает танцевать и бормотать. Несколько раз он уже падал в изнеможении, но, полежав, опять вставал и продолжал корчиться. Он будет танцевать, пока не умрет, пока не скажет ему Бог, может ли он наказать Безобразова. Теперь он опять стоит неподвижно с поднятыми руками, в точности похож на мокрое белое дерево. Вот он опять склоняется к окуляру, и когда он устает смотреть в телескоп, высоко задрав зад и как-то протрезвев немного, резко поворачивается; навстречу ему над озером вспыхивает вдруг ослепительная белая огненная полоса. Одно мгновение он застывает, ослепленный метеором, и вдруг падает ничком на камень.

Теперь он будет лежать и биться среди пены, потом затихнет. На рассвете встанет, весь дрожа от слабости. Утирая кровь и озираясь, оденется, спустится вниз, спрячется в ванной. Теперь нужно быть спокойным и осмотрительным и собрать всю свою силу, ибо Бог осудил Безобразова и Роберта

призвал к отмщению.

А в доме день встает. Зевс уже проснулся на своем тюфячке под кустами орешника и слушает пение птиц и рев петухов, вспоминая свою дремучую лесную вотчину. В кухне зашевелился повар и, насвистывая, растапливает печку, и под гудение первого парохода Тереза уже поднялась с постели и встала на молитву.



## Глава XIV

*La melancolie de l'homme serpent.*  
*Jules Laforgue*<sup>74</sup>

В тот день Тереза, помолясь, незаметно уснула, встала поздно и еще дольше молилась. Страшный сон приснился ей ночью. Ей снилось, что она сквозь страшный дождь ведома ангелом по горной дороге. Они оба спешат и путаются, и молния часто преграждает им путь. Они поднимаются в гору и скоро выходят на широкую возвышенность. Тогда дождь прекращается, и только мокрая трава путается в ногах. Наконец, и трава прекращается, и они останавливаются.

Страшная тишина окружает их, они как будто ждут чего-то, и Тереза знает, что они ждут взошествия месяца. Глухо, медленно озаряются соседние острые вершины, и из-за них показывается неправильной формы низкая темно-желтая луна. И вдруг она ясно почувствовала, что ей не следует поворачиваться и смотреть перед собою, ибо она увидит нечто, что не следует видеть, нечто стыдно ужасное, и что все это сон, и что лучше, может быть, тотчас же проснуться. Но медленно она повернулась и сначала вовсе ничего не увидела на низкой и голой равнине. И вдруг...

Прямо перед нею стояло не очень большое дерево и, о,

---

<sup>74</sup> Тоска человека-змея. *Жюль Лафорг (фр.)*.

отвращение, несмотря на полное отсутствие ветра, казалось ураганом склоненное по направлению к луне; но что было еще ужаснее: оно, как увязающий в песке человек с вытянутыми к небу руками или как невиданное сборище змей, маленьких, оплелших более больших, все в непрерывном движении, как бы корчилось на месте и не могло сойти с него. И так бесшумно, беззвучно под тусклыми лучами извивалось оно и тряслось, склонялось и вновь выпрямлялось на месте, и от напряжения кровь выступала на его ветвях. И голос сказал:

– Горе! Горе! Вот что стало с деревом жизни!

Щемящая жалость, смешанная с отвращением, сотрясала Терезу, в то время как дерево, как волосы, стоящие на голове умирающего, вдруг все повернулось к ней, отчаянно вытягиваясь в ее сторону, как будто звало и манило ее отчаянными жалкими жестами и корчами, и вновь кровь текла по нему и, казалось, кипела, ибо дерево сгорало от жажды и молило Терезу приблизиться.

И вот Тереза решилась. Сжав руки на груди, она сделала шаг вперед, и тотчас же, как тысяча горячих щупальцев, ветви обвились вокруг нее. Они жгли и душили ее, она теряла сознание, но не сопротивлялась.

Все изменилось вокруг нее, невыразимо животный ужас объял ее, и вновь страшная жалость и желание погибнуть, напоив собою и разделив боль, охватила ее. Теперь, казалось, она была проглочена и сдавлена, со всех сторон облеп-

лена жирными поверхностями и мерно всасывалась, медленно опускалась, проваливалась куда-то все ниже и ниже.

Все было слабо озарено тусклым, как будто газовым, свечением и разделено перепонками, углублениями наподобие системы каналов с многочисленными поворотами. И вдруг Тереза поняла, что то, что она сперва принимала за сдавленные размытые тряпки или слои, было наполовину переваренными человеческими существами.

«Это желудок Адама», – пронеслось в ее голове. Раздавленные, смятые и разъеденные, но явственно еще живые и даже одетые люди текли равномерно, один, соединенный с другим, как смытый водой рисунок, скошенный и слезающий, или фотографическое изображение, не в фокусе снятое. У одного лицо было совершенно на боку, у другого одна нога была как будто нормальна, но зато другая была чудовищно вытянута и, как длинная черная макарона, длилась еще и за поворотом пути. И все это, смешанное, спутанное – и лица, и платья, какие-то даже мундиры и неправдоподобные короткие пальто, – ползло, равномерно движимое неторопливыми глотательными пульсациями слизистых стенок. И вместе с ним долго текла, ползла, влачилась и Тереза, которая часто теряла совсем сознание. Наконец, ей полегчало, и все наполнило чувство абсолютной слабости, вываренности и безволия. Теперь она была уже не в горячей массе, а в какой-то иной, не то летящей, не то скользящей среде, как бы проваливалась куда-то извне вовнутрь с тоскли-

вым «чувством подъемной машины». Медленно Тереза достигала дна, ужасный нездешний холод охватывал ее, что-то абсолютно черное, немое и ледяное, не допускающее ни малейшего движения, не пропускающее ни звука, ни света; и страшное, невыразимое, нездешнее одиночество наполнило ее всю.

Так прошло очень много времени, как это ей показалось, годы и годы целые, полные невыразимой покинутости и отчаянья; опрокинутая навзничь, она не думала, не ждала, не жила и только потом поняла, что где-то здесь рядом – такие же, как она, попавшие сюда, растратившие последнюю доблесть и силу, также изжеванные, унесенные, вываренные и вкованные в лед. Поздно, поздно! Тщетные сетования, поздние сожаления. Поздно, поздно! «Боже, буди милостив, не остави меня в старости, когда крепость моего ума помрачится». И вспомнив вдруг, как плакал всегда святой Фома при этих словах, сердце Терезы перевернулось, разорвалось, и, о чудо, слезы, разбив абсолютное оцепенение, полились из ее глаз.

Долго-долго плакала Тереза во сне, и вдруг она показалась себе как бы маленьким ключом, молчаливым, незаметным источником. А где-то там внутри, далеко и близко, было синее небо, может быть, солнце, и кто-то, все время стоящий подле, но невидимый, спокойно-грустно сказал:

– Слезы есть единственная влага жизни.

И что-то вдруг переменилось вокруг, как будто успокои-

лось, легло поудобнее, забылось немного. И опять Зевс сказал:

– Пооди, скоро и проснетя, так и спит, не разувшись. Ноги натрудит.

Солнце сияло в широкой столовой. Зевс и Авероэс пили чай с блюдечка. Тереза поднялась с дивана.

С утра день был, как бумага, тяжел и страшно неподвижен. Все дышало медленнее, медленнее шел пароход, и лошадь зеленщика, останавливаясь, засыпала на месте. Книга падала из рук. Рука опускалась жалким и неживым жестом. И, несмотря на это, Тереза, борясь со сном, молилась в кресле, откинув голову и закрыв глаза. Трудно было напрягаться, сосредоточивать мысль, повторять слова. Часто она ловила себя на том, что думает совсем о другом или мгновенно видит целые сны. Даже Зевсу было тяжело работать и, окапывая какие-то гряды, с изумлением тыльной частью руки отирал он пот, а над ним сияло все то же дивное синее небо, клонящееся в безмятежную зеркальную гладь воды. Синяя вода смотрелась в небо, небо смотрелось в воду, и оба отражались одно в другом, и оба не видели себя в отражении, не смотрели никуда и не сознавали ничего. Высокое солнце пылало над каменными волнами гор, на небе ни облачка, на озере ни единой складки. Вдали верхняя голубизна сливалась с нижней, нижняя с верхней среди паров, и казалось, что мы внутри огромного лазурного шара без начала и конца.

И вот именно в такой день Аполлон Безобразов и Роберт, нечувствительные ни к солнцу, ни к усталости, отправились в давно обдуманную экспедицию к верхним пещерам, вырытым ледниками, за двадцать верст от города, пятьдесят верст по горам. Оба надели тяжелые башмаки, альпийские мешки и короткие штаны. Задолго до рассвета, умывшись и напившись молока с медом, еще в пении соловьев, громко шурша по гравию, вышли в сад и у самой калитки встретили Терезу, которая, как Офелия, блуждала в полумраке, проснувшись в середине ночи и не смогши больше заснуть.

Она проводила их по дороге, сославшись на то, что хочет отнести письмо на почту, но по-настоящему от странной муки какой-то. Она все тщила задержать их, поила кофе со сбитыми сливками в станционном кафе, и все-таки по уже розовой улице под голубым небом она пошла назад, а они в гору, скрипя гвоздями в рассветной тишине.

Сперва шли среди дач и отелей, где еще подметали и чистили медь, затем, уже в первых лучах восходящего солнца, вошли в виноградники и уже до самой полдневной жары поднимались посреди них.

Иногда над дорогой свешивалось фиговое дерево, осыпались грозди глициний, и бежал скудный ручей по специальному трубопроводу. Однако людей было мало.

В городе дорога шла петлями, почти на вершине подъема опять начинались санатории, и это за ними на лужайке среди разбитых тарелок они впервые остановились и принялись

есть. Теперь все озеро было перед ними и казалось меньше; серо-голубое, оно было похоже на рисунок на карте, и несколько точек-пароходов ползло по нему, оставляя далеко за собою неподвижный след, более светлый или более темный, который еще долго оставался видимым, даже когда пароход уже вовсе скрывался из глаз. На кегельбане, над которым они сидели, глухо стучали шары, и гонг долгим звуком дребезжал в столовой отеля.

Отсель дорога становилась более дикой, ибо теперь нужно было спуститься в лог и опять начать подниматься. Они сперва шли по дороге, потом целиною через кусты, затем лесом, цепко растущим среди скал. Их приходилось обходить и перелезать, и они, мокрые от пота, но неутомимые, прыгали с камня на камень, состязаясь в бесстрашии. Горы одна за другою повышались, и ландшафт становился грандиознее, ибо то, что снизу казалось самой вершиной, было лишь подножием следующего уступа, и в середине дня они настолько отделились от города, что озера уже вовсе не было видно между горами. Теперь они шли оврагом высохшего горного потока, скатывали камни за собою. Это вообще было приятно, особенно если камень был побольше и подъем крут. Тогда он долго подпрыгивал, увлекая за собою щебень и ломая кусты.

На голой круче Роберт шел медленнее, однако не жаловался, и нельзя было сказать, то ли сил у него было много, то ли за постоянной своей мрачно-иронической экзальтацией

он не хотел замечать усталости.

На вершине опять между двух гор выглянуло озеро, оно было почти белым от солнца, и деревни на берегу не были видны, так все-таки далеко они уже зашли даже от следующей станции, где Роберт, шутя и вихляя задом, написал и послал открытку Терезе. И снова они отдыхали, лениво говоря о жаре и об особенных снах, которые бывают во время нее.

– Снятся ли вам вообще сны? – спрашивал Безобразова Роберт.

– Да, снятся, и очень неприятные, только я всегда знаю во сне, что сплю, и, когда хочу, просыпаюсь. Вот вчера я видел такой сон. Будто я сижу в комнате, она пустая, но что-то в ней есть очень нехорошее, что-то должно случиться и выхода нет. Но я опускаю руку в карман, нащупываю что-то холодное и вытаскиваю маленький пейзаж в металлической рамке, изображающий вот такие горы; и не то я уменьшился, не то пейзажик сразу вырос, и я ушел в него, пользуясь прекрасной погодой.

– То есть вы хотите сказать, что вы вообще никогда не попадаетесь?

– Да, вероятно, если бы я был преступником, я бы никогда не попался.

Здесь Роберт ухмыльнулся и незаметно посмотрел на Безобразова, который с закрытыми глазами погрузился в ощущение солнечного жара на своем лице. Ему что-то хотелось сказать злое, но он удержался, и с этой минуты и началось



то странное, о котором, вспоминая случившееся, часто думал Безобразов. Но тогда он не удостоил ничего заметить, и просто в спортивном остервенении, казалось ему, Роберт спешил подняться все выше и выше, и уже он шел впереди, а Безобразов далеко внизу, так что они часто теряли друг друга из виду, и тогда за большим камнем Роберт бросался на колени и, часто и мелко крестясь и озираясь, клал земные поклоны, потом вскакивал, выглядывал из-за камня и раз лицом к лицу столкнулся с Безобразовым, который, заинтригованный, быстро наверстал расстояние, но, виду не подав, невозмутимо прошел мимо.

Наконец они достигли плоской вершины широкой полосы возвышенностей, которая у горизонта упиралась в снежный неприступный гребень, и остановились, окруженные треском кузнечиков и смолистым запахом трав, можжевельника и тысячелетника. Они были почти у цели, вернее, к цели теперь нужно было спускаться, ибо дальше плоская вершина вдруг обрывалась, и там, в стене огромного скалистого амфитеатра, и были подвешены вырытые ледниковой водою стоянки первобытного человека и начало каких-то глубоких нор и переходов внутри горы, осмотреть которые они и надеялись. Только спуск этот был вдесятеро труднее. Он был невозможен без толстой веревки, которой они и привязались друг к другу.

Сперва спускался один, а другой, упершись за камнем, держал веревку, затем веревку нужно было перекинуть за

камень и, упираясь в почти отвесную стену, сползать, сдвоив ее. Затем они оба отдыхали на уступе и опять начинали спускаться.

Первый шаг по крутизне было легко сделать, вернее, легко, шутливо храбрысь, было на него решиться, хотя сердце отчаянно ныло, и вся природа возмущалась против этого, но когда, уцепившись между небом и землей, они понимали, что, если не смогут спуститься до самого дна, им придется опять ползти вверх по эдакой круче, в области живота и паха у них делалась такая щемящая мука, что они дорого дали бы, чтобы все это было только сном, и проклинали молодеческую фальшь, толкнувшую их на все это. А внизу, четыреста метров под ними, рос столетний лес, и, протянувшись ниточкой по дороге, весь превращаясь в пену и хрустальную пыль, однообразно грохотал поток, непрерывный водяной фейерверк, не подчинившийся еще человеческому лукавству.

Все же, опираясь кое-где на кем-то вбитые железные скобы, Безобразов первый коснулся ногою покрытой цветущими кустами террасы, как будто нарисованной искусным архитектором, но отрезанной от вершины и от подножья горы головокружительной кручей. Сюда, все в один ряд, выходили доисторические норы, но в них уже было совсем темно, ибо солнце, заходя, желтыми яркими лучами заливало противоположный берег ущелья, резко вырезывая на нем каждый камень, каждое дерево. И сразу все страхи прошли, когда нужно было разводить костер, вспоминая старую бойска-

утскую сноровку, печь картошку и отдыхать.

В тот вечер они слишком измучены были, чтобы что-нибудь осматривать, да и сумерки быстро сгущались. Противоположный отвес скоро сделался оранжевым, затем глинисто-красным, наконец, фиолетовым. Пламя костра стало ярче, и над ним, окруженные ореолами, во мгле загорелись летние звезды. Костер горел высоко, и дым прямым столбом, как над Авелем, поднимался над ними, и, несмотря на усталость, Безобразов долго не мог уснуть, ибо нелегко было улечься возбуждению опасности; и все же он забылся, широко разметавшись, и тогда, притворившийся спящим, Роберт встал, обошел костер и, наклонившись, принялся рассматривать спящего.

Несмотря на усталость предыдущего дня, проснулся Безобразов рано. Солнце только что встало, и дно ущелья еще покрыто было туманом. Птицы пели отовсюду, отовсюду шумела вода, и, несмотря на рассветную прохладу, что-то говорило об исключительно жарком дне. Роберт еще спал, уткнувшись лицом во что-то, когда он обошел уже скалистый выступ и побывал в одной из пещер, где дивное зрелище открылось ему. Откуда-то, из какой-то щели, как из стрельчатого окна, проникал свет, и алебастровый свод, покрытый сосульками сталактитов, был озарен бледным зеленоватым светом, который бывает в погребках именно в солнечный день. Эту пещеру они осмотреть до конца не смогли, для этого нужны были веревочные лестницы, факелы и фо-

нари, но почти целый день они провели под землей, и солнце уже было высоко, когда, доев остатнее, они начали собираться в обратный путь. По мере того как отход приближался, Роберт проявлял все большую нервность, он буквально не мог стоять на месте, дергался, шутил и пел, и более наблюдательный человек, чем Аполлон Безобразов, давно бы заметил неладное; но какое-то необъяснимое отсутствие, оцепенение напало на него. Несколько раз он как будто уже собирался сосредоточиться и понять, чего Роберт от него хочет, но не мог совершенно, и солнце уже клонилось на запад, когда, нехотя собрав свои немногочисленные вещи, они начали обвязываться веревками.

Несмотря на это, спуск начался, и на этот раз, казалось, ему не будет конца, настолько далеко внизу, как маленькие кустики, виднелись столетние сосны; и вот то, что давно должно было случиться, началось – терпению сумасшедшего пришел конец. Впоследствии Безобразов никак не мог вспомнить; случайно ли отвязалась веревка или сам он, сообразив недоброе, ослабил узел. Едва только они спустились первые тридцать метров и остановились передохнуть на маленьком скалистом носе, где нечего было и думать о сопротивлении, сахарно улыбаясь, безумный спросил его, не устал ли он спускаться на руках.

– Нет, – сказал Безобразов, – только ладони ободраны.

– Ну, они вам больше не будут нужны, – сказал вдруг Роберт.

– Почему?

– Я думаю, что у всякого дьявола должны быть крылья.

Впрочем, не хотите ли вы исповедаться на дороге?

Аполлон Безобразов понял и молчал.

– Ну! – сказал Роберт.

– Ну, что там, к чему вспоминать! Было и прошло, прожил как-то, все это неважно, – наконец отозвался Безобразов. – Лучше вам исповедаться, ведь и вам здесь конец.

– Мне?! – обернулся Роберт, показывая себе пальцем в грудь. – Я уже три года, как умер, и живу в аду.

Внезапно расвирепев, он схватил веревку и резко потянул ее на себя, но что-то, помимо воли соображавшее в по-прежнему отсутствовавшем Безобразове, жестоко и безошибочно мгновенно заставило его ухватиться за веревку и, упершись, сопротивляться; и когда безумный с нечеловеческой силой припадка уцепился за нее, все то же «оно» в Безобразове, поняв, что будет побеждено, заставило его вдруг отпустить все; веревка, мигом обжегши его, вырвалась из-за пояса, и Роберт, широко всплеснув руками и дико взыв, повалился в пропасть.

Подавшись вперед, Безобразов еще успел увидеть, как, махая руками подобно неуклюжей бесперой птице, Роберт ударился еще раз о какой-то выступ и, не смоги ухватиться, перевернулся и исчез внизу. Долго еще без мысли, без страха, в каком-то оцепенении недоумения Безобразов смотрел вниз, потом сел на камень, вынул гребенку и машинально,

не зная, что делает, начал причесываться, лег наконец и, не плача, остался неподвижным.

Вот ты, Безобразов, и убил человека. Человек – ничто, человек помер, вот ты и убил. Человек – ничто, вот ты и сделал его ничем, и ты доволен? Зачем же ты сам удержался? Значит, ты все еще хочешь быть, а бытие ты ненавидишь. Каждая неудача есть вина. И ты сам виноват, что так нелепо должен будешь умереть на лоне природы, раньше, чем природа умерла в тебе. Ты всегда хотел быть победителем. Ну вот, ты и победил человека. Не оступился, не уступил, а победил. А теперь ты будешь сидеть над ним, как злая птица, могущая убить, не могущая создать и летать. И конечно, ты защищался, но не ты защищался, а «оно» в тебе защищалось. «Оно» хотело жить и «имело» его, а теперь «оно» не сможет жить и «будет иметь его». Теперь сойди с креста. Чтобы сойти с креста, нужно заставить почувствовать себя на кресте, как дома, заснуть на кресте, привыкнуть к этой позе и к этому гложущему, сосущему чувству под ложечкой; этот голод не так важен пока. Ты уже давно знаешь, что это такое. Ну, а жажда – говорят, что она страшна; попробую прокусить руку и сосать собственную кровь, можно также заняться онанизмом, чтобы ослабеть и уснуть скорее, но лучше думать, пока думается, этого уж ни у кого не отнимешь.

Разве я на него сержусь; это судьба, а не человек. Действительно, хочется есть, но не настолько, чтобы нельзя было думать. Держать себя в руках.

Уже давно ночь, а еще так жарко и больно лежать; и как я ничего не замечаю, когда владею собою, но стоит мне распуститься, и мне от всего становится больно. Что-то ест меня, уж не блоха ли, и почему это блохи всегда кусают в промежности. Но что там с ним внизу, уж вовсе ничего, вероятно, и как плохо все-таки так сразу умирать, сразу все забывать. Но почему плохо? Ни хорошо, ни плохо – никак. Мои это или чужие воспоминания? Читал? Видел во сне? Или же я чего-то не понимаю. Ну вот, если бы проснуться и ничего, даже имени, не помнить: смерть ли это будет? Но мне, вероятно, придется броситься вниз, ибо слишком жжет меня и гложет голод, но почему мучиться, а так сразу всему конец; но не стоит, самоубийство противно мне, как триппер.

Который час, собственно; а нет часов, и это я всегда отвечал, что счастливые часов не наблюдают. Только нужно себя держать в руках, держать в руках себя. Онанизм. Член становится большим и горячим. Почему я все-таки не жил с ней? Ведь она дала бы. Нужно было бы уговаривать? Нет, она и так дала бы. Но как-то жалко ее. Почему вообще как-то жалко женщин? *Omne animal post coitus tristum est*<sup>75</sup>. Слишком она трогательна. Была бы при этом нежность, слабОВОлие, мокрые прикосновения, потные руки. Бррр... Презираю сладострастников. Что бы я хотел: иметь всех женщин или побить все рекорды? Конечно, все рекорды. А потом: зачем всех или эту именно, живешь ведь не с кем-нибудь, а живешь

---

<sup>75</sup> Каждое существо грустит после совокупления (*лат.*).

вообще с определенным типом бедер, кожи или волос. С определенным типом душ. Познание через сексуальность. Я не езжу на этом вонючем трамвае. Нет, она не возбуждает. Она недостаточно порочна, и ей совестно, когда она нравится. Употребить и прогнать, как сын Давида. Как все сразу становится понятным в постыдный момент! Где мои, где твои ноги, и все покрыто жидкостью среди волос. Но почему волосы? Бэкон думал, что там же, где лучи. У Бога, значит, лучи на голове и между ног. Но почему Зевс с ней не живет? Девочка она для него, дочь. А с ним ей было бы хорошо. Эдакое полено. Ну, растянется как-нибудь. То же, что жить с отцом: он мог бы, а она нет. Она могла бы по милосердию, но ему было бы тяжело. Она ведь никому не отказала бы, если ее очень попросить. Странная она, и, вместе с тем, ей, вероятно, никогда не хочется. Однако трудно уснуть и хочется пить; выпить, что ли, своей мочи, но куда собрать? Скоро, кажется, нельзя будет думать и нужно будет остановить все, сосредоточиться, достигнуть нечувствительности. Грустно все-таки, что все так скоро кончается, особенно им. Ведь им все казалось, что вот сейчас «оно» начнется, и только мне ничего не казалось, ведь я всегда сам по себе, как летний день, когда пыль и солнце над добрыми и над злыми. Отснять и не быть хотелось мне. Упасть на солнце.

Они меня, конечно, не найдут, но будут искать, звать, может быть, будут плакать, как они всегда искали, звали, плакали, ибо я все равно их потерял, и мы даже мало и встреча-



лись последнее время, слишком много было горечи в воздухе. И за что они меня так осуждают? И все-таки они – единственные люди, которые меня любили, а теперь уже всему конец и нужно заставить себя забыть их, не так страдать от голода, не так ворочаться из стороны в сторону. Забыть. Уйти за бытие. Тереза тоже забудет, ибо это как борьба со сном; в конце концов, всякая память бывает побеждена. Забудет. Утешится, но ведь я всегда хотел, чтобы меня никто не помнил, чтобы меня все оставили в покое. Ну вот и оставили. Почему же тебе так тяжело, Безобразов; или потому, что не по твоей воле, но разве ты всегда не любил все неизбежное и не знал, что так будет, нарочно не дразнил Роберта?

Значит ли это, что смерть гораздо страшнее, чем я думал? Чему же я учился всю жизнь, всю жизнь готовился, если не к смерти, и вот я сейчас беспомощен и слаб, как Васенька, и готов даже закричать, как во время операции без хлороформа. И как хочется мне еще увидеть, как, молодецки пыхтя, Тихон несет целую пальму в кадке. Кстати, перенес ли он их все? И даже Васеньку с его вечными «вечными вопросами». Так всегда думаешь, что это еще не те люди, стоящие, чтобы ими по-настоящему заняться, и вечно ждешь кого-то, а жизнь тем временем уже прошла, и это были именно те, выбранные судьбою свидетели жизни, которые всю ее помнят, несут в сердце, и вот уже я их никогда не увижу, никогда; и где прелесть этого слова, которое мне всегда так нравилось, а теперь, когда «никогда» началось, как все это вышло со-

всем по-другому и гораздо большее.

Стыдно как-то умирать. Ведь я ничего не сделал, ничего не написал. Мне всегда казалось, что я еще успею, что и так, «по носу», все видно и что достаточно с особым видом пройти в воскресенье среди гуляющих, чтобы все поняли, что такое «оно». Что «оно» здесь, на воскресном бульваре, среди их возбужденных глаз, веселых ног и разгоряченных членов. И конечно, все понимают, если в комнате сидит «оно». «Оно» одно утешало меня, когда я еще не выносил жизни. В литературе и в жизни «оно» побеждает литературу и жизнь, солнечное, спокойное, нечеловеческое. Я всегда поклонялся ему, невидящему и вездесущему покровителю Антонина и Юлиана, и вот «оно» сейчас оставило меня, и мне страшно, тяжело, холодно. Мне хочется сейчас чего-то доброго, близкого, домашнего, босого и теплого, как нога; и как я всегда над этим смеялся. Как жалко тебе себя, Безобразов, а ты хотел умереть, улыбаясь. Незаметно пропустить смерть. Как скучно тебе и холодно умирать.

Еще минуту – он забудется, заснет, может быть, во сне неловко повернется, расплатится за все; но в непроглядной темноте непрерывный грохот водопада давит его, он ерзает, обливаясь потом, он то бредит, то просыпается, и тогда вся душа его сжимается, как рука, от страха, и вся превращается в немое моление о чем-то, о едином слове, о едином прикосновении человеческого тела. Но нет, только грохот природы

отвечает ему, и еще горше, почти без слез, изверг плачет.

И вдруг, неведомо откуда, как будто из воздуха, ему слышится церковное пение. Оно разрастается, оно скоро будет совсем близко. Тихо и дивно-спокойно невидимый хор поет:

Блаженны нищие духом, ибо они Бога узрят.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

С каждым стихом мелодия поднималась все выше и выше, и уже казалось, что сердце его сейчас раскроется и будет иным и новым.

Впервые за долгие годы Аполлон Безобразов плачет. Плача, он приникает лицом к камню, и вдруг ему кажется, что он всю жизнь ошибался, лгал, портил, что все счастье его и свобода есть невыносимое горе, и связанность, и одиночество, но что-то опять возмущается в нем при мысли, что он таким родился и что не он во всем этом виноват. И, не смоги принять на себя всю вину мира, он засыпает, наконец, каменным сном, и чей-то голос говорит ему: «Времена еще не исполнились».

## Глава XV

*Скоро ты забудешь обо всех, и все, в свою очередь, забудут о тебе.*

*Марк Аврелий*

В этот день все рано собрались за обеденным столом. Авероэс с книгою в руке, читая, катал хлебный шарик. Зевс, вымывшись после тяжелого труда, с удовольствием гребнем расчесывал свою львиную гриву. Я же, измученный сырою жарой, сдвинув скатерть, раскладывал пасьянс в две колоды и в нервическом бешенстве, кривясь, расклеивал старые маленькие карты, которые почти невозможно было тасовать. Тереза хлопотала где-то на кухне, откуда с веселым озабоченным лицом появлялся повар, чтобы, пошарив в буфете и подмигнув мне, опять исчезнуть.

С редкою красотою звука проиграв четыре четверти, часы, на целую октаву ниже, начал и бить три часа. Помню, Авероэс оторвался от чтения, осмотрелся, заложил пальцем книгу, а пальцем другой руки далеко отогнал готовый хлебный катышек. Опять все погрузилось в неподвижность, и вдруг, как будто не расслышав чего-то, он высоко, как птица, поднял голову и как будто обдумал сказанное, но это было лишь привычное ему автоматическое движение, ничего не означающее.

Потом вошла Тереза в переднике и, бросив на стол газеты, грустно и мило сказала:

– Газеты только после обеда.

И вдруг, потанцовывая, как всегда, круглый и заросший бородою, в комнату вошел повар и, видимо, побаиваясь Авероэса, но все же желая чем-нибудь продолжить установившиеся у него с Зевсом шутливые отношения, низко поклонившись и выставив толстый зад, подал Зевсу открытку. Продолжая причесываться и далеко отставив ее от себя, великан презрительно скосил глаза, но рука его, держащая гребень, остановилась на середине ее пути, и он, насупившись, уставился на открытку, и что-то недоброе, мелькнув, как электрическая искра, переменяло мгновенно атмосферу комнаты.

– Ну что? – нарочно не поднимая головы, спросила Тереза.

– Ничего! Чепуха какая-то, – неумело притворяясь, сказал Зевс и вместо того, чтобы презрительно отбросить от себя письмо на середину стола, не глядя ни на кого, положил его под тарелку и хмуро, как неприступною стеною, отгородил ее своею ладонью. С этой минуты внимание присутствующих осталось прикованным к этому месту. И напрасно Авероэс опять раскрыл книгу, ибо всем было ясно, что ему уже не хочется читать.

Снова, но уже молча, Тереза некоторое время продолжала расставлять тарелки со слабым цоканьем. Она даже раз-

лила суп, но, легко держа ложку, так упорно не поднимала глаз, что все понимали, что очень скоро она не выдержит. И вот Тереза оставила ложку и, вытянув руку через стол, просительно-жалобно коснувшись рукава Зевса, спросила:

– Нет, правда, Тиша! Дайте мне открытку, – и так на последнем слове печально и жалобно повела бровью, что казалось невозможным, чтобы Зевс не дал ее; и действительно, он еще более насупился и, резким жестом достав послание, пододвинул его к Терезе. После того как Тереза завладела открыткой, наступило молчание, но столь абсолютное, что недоброе и непоправимое еще более сгустилось в воздухе. Однако крупным угловатым почерком на ней стояло только одно слово: «Enfin»<sup>76</sup>.

– Ах, зачем вы пустили их вместе! – вскрикнула, наконец, она, раскачиваясь в отчаянье из стороны в сторону, и тотчас же все мы фальшивыми голосами принялись рассеивать ее страхи. Вскоре она как будто поверила, но в полуденной духоте настолько ничего не выходило из разговора, что Авероэс, не вполне понимая происходящее, уговорил нас выйти немного послушать муниципальный любительский концерт на открытом воздухе, который местное филармоническое общество служащих почт и железной дороги давало в саду курзала.

Все также почти не разговаривая, мы вышли через кухню, провожаемые недоумевающим взором толстого повара,

---

<sup>76</sup> «Наконец-то» (фр.).

и сразу солнечное пламя ослепило нас на дороге и тяжело легло на лицо и плечи. Идти было довольно далеко, но все предпочитали это, чем дома мучиться страхами.

Наконец среди пыльных деревьев показались мавританские крыши казино, все изукрашенные деревянными фестонами, мачтами для флагов и бутафорскими окошечками. У входа мороженщики и продавцы открыток и погонщики ослов громко расхваливали свои общедоступные развлечения, а за калиткой в тени эвкалиптов измученные жарой дачники сидели, развалиясь на садовых стульях. Местные жители, нечувствительные к ней, степенно прогуливались по шуршащему гравию, и некоторые из них были даже в крахмальных воротничках, необычайно высоких, что казалось уже вовсе сверхъестественным, так же как сложные шляпы их жен, покрытые перьями, что медленно проплывали по белесой синеве озера.

Музыка еще не начиналась, и духовые исполнители дружески переговаривались из аляповатой раковины эстрады с сидящими в первых рядах, и однообразно, но красиво, рождая в воздухе летучую радугу, шумел водяной шланг, поливая скудные клумбы, а водяная пыль, относимая ветром, холодом и свежестью падала на разгоряченные лица. Наконец молодой и узкоплечий распорядитель повторно возгласил начало слухового действия разбредшимся слушателям. В громком шиканье опоздавшие заняли свои места, и, сразу сделавшись серьезными и высоко подняв свои дешевые ин-

струменты, музыканты приготoвились играть.

Все началось с «Вальса роз» Вагнера, и в то время, как нестройный шум музыки увеличивался, солнце, давно прошедшее над нашей головой, стало клониться к закату, и скоро розоватый горячий вечерний свет ярко осветил белые и декоративные купола курзала.

В антракте свирепствовали официанты, и франты в соломенных шляпах, бродя между рядами, смеялись высокими неестественными голосами и, провожаемые шипеньем меломанов, долго не могли успокоиться.

И вот, едва прилежно выдувая вступление, оркестр заиграл «Крестьянский танец» Шумана, что-то странное начало твориться с Терезой. Еще во время первого отделения она все щурилась на свет и закрывала глаза и вдруг широко раскрывала их, видимо, пораженная вновь какою-нибудь мыслью, все гладила рукою свои волосы. Она так редко надевала что-нибудь новое, что в этот день казалась очень нарядной в белом своем платье. На плечах оно кончалось нежными буфами и сборками, и Тереза, мало загоревшая, пожелтевшая, скорее, была удивительно красива, когда в антрактах, немного отошедши, она скучающе осматривалась по сторонам своими светлыми глазами, казавшимися в яркий день как бы лишенными взгляда. Но едва музыка возобновилась и изолировала слушателей, прежняя тревога охватила ее, и вдруг она как будто увидела что-то перед собою и, сидя на самом кончике стула, все делала какие-то странные беспo-



мощные жесты руками, как будто ловила муху; потом среди красных затылков и бумажных вееров она поднялась во весь рост и дико, неприлично закричала, вырвалась на середину и на дорожке перед самым оркестром повалилась на гравий, взмахнув руками.

Разом вся публика встала, и оркестр, едва, наконец, наладившийся, остановился. Какая-то дама принялась суетиться и причитать над нею, но Тереза не приходила в себя; когда я помогал переносить ее к спешно вызванному извозчику, я чувствовал, что руки ее совершенно одеревенели, пальцы конвульсивно скрючились, и все тело, вытянувшись дугою, отвердело, как будто искусственное. Провожаемые кричащими мальчишками и стыдною атмосферою русского публичного скандала, мы, наконец, поехали и весь вечер и ночь просидели, не раздеваясь, у дверей ее комнаты. Сознание все не возвращалось к ней, хотя эпилептическая твердость покинула ее тело, она казалась теперь просто спящей; и вдруг: «Зевс! Зевс! Вася!» – страшно знакомый отчаянный крик раздался из запертой комнаты, сопровождаемый какою-то вознёю, возгласами и падением стекла, и, не дожидаясь нас, Тереза в халате выбежала в столовую.

– Зевс, милый, я видела, поймите! Я видела, как он упал! Ради Бога, оденьтесь сейчас же и идем за ним.

– Лучше утра дожидаться, Тереза!

– Нет, сейчас, сию же минуту. Ведь он, может быть, еще жив. Боже мой. Боже мой, зачем вы пустили их вместе!

Действительно ли Тереза видела всю сцену или, догадавшись, в точности ее вообразила, но, проблуждав в горах два дня и потеряв уже было всякую надежду, переночевав на камнях и со страхом встретив рассвет, мы к закату солнца все-таки разыскали место, хотя ничего не знали ни о маршруте Безобразова, ни о пещерах, и увидели, наконец, его, лежащего ничком на каменном выступе. Окликнули его и, не получив ответа, начали спускаться. Безобразов был без сознания, и он не очнулся даже, когда его, привязанного, подняли наверх. В назначенном месте мы встретились с проводниками, которые, обойдя низом, принесли с собою завернутое в пальто тело Роберта, лицо которого было страшно разбито, и медленно странное шествие двинулось в обратный путь.

Впереди всех Зевс, как пастырь добрый, нес Безобразова, по-военному скрестив на груди одну ногу с одной его рукой. Затем шли проводники с телом Роберта на носилках, а за ними, как Пречистая Мать, Тереза, вдруг ослабшая, согнувшаяся, потухшая и не перестававшая плакать, совсем другая, чем та, которая вела нас на гору, все время молясь вслух, ломая руки и крича на нас в каком-то неутомимом иступлении отчаянья. А сзади всех шел я, неся какие-то вещи и часто отставая, и бессмысленной искусственной декорацией казался мне дивный горный ландшафт, весь озаренный спокойно и празднично закатывающимся солнцем. Потом небо

потухло, и мы еще долго шли в темноте, и я вел Терезу, ибо, мучаясь воображаемою виною, она совершенно потерялась, ослабла и бессвязно и жалобно все повторяла что-то, размазывая слезы по грязному и обожженному лицу.

Бывают такие невыразимо грустные теплые дождливые дни, когда под белым низким небом дождь все шумит и шумит по темно-зеленой листве. И скоро уже и лету конец, хотя все еще чувствуется где-то скрытая, но не охладевшая сила солнца. Однако среди редкого погромохиванья снова и снова падают капли, и в сыром воздухе ясно слышно, как поезд стучит однообразным стуком, то затихая за горою, то опять подавая голос.

С утра на мокром крупном гравии сада остро пахнет очнувшимися цветами и листьями, горы вдаль как будто переменили свои очертания, а внизу, на набережной, под навесами мокнут открытки с их вечною яркой погодой, раковины с надписями и шоколадные автоматы. Тогда вода в озере вся усеяна как бы мурашками от падающих капель. И все-таки еще тепло, даже почти жарко, хотя скоро уже будет холоднее.

Такими белыми днями, лежа на шезлонге, Аполлон Безобразов выздоравливал. Он присмирел как-то и даже позволял теперь Терезе читать вслух, что она так любила делать. Он явно пошатнулся в чем-то, и прежнее торжество покинуло его, однако мне было ясно, что прежнее еще не умерло в нем, и только первая тень сомнения легла на него, как старое

циклопическое здание, опаленное молнией, дает первую глубокую трещину, но еще долго будет своей зубчатой твердой омрачать горизонт. Хотя нечто и вовсе новое, какая-то новая горечь появилась в его речах, а иногда, что было уже вовсе ему незнакомо, особенная, снисходительная ко всему печаль.

Так, помню, опершись на локоть, он долго, выпучив губы, смотрел на меня, остановившись среди разговора, и вдруг спросил:

– Скажите, Васенька, а что, по-вашему, сказал Лазарь, когда Иисус его воскресил?

– Не знаю, а что?

– Нехорошее что-нибудь сказал.

– Ну почему же?

– А вот представьте себе, что вы уже досыта намучились за день и устали, как сукин сын, и вот, наконец, добрались до койки и заснули, запрокинувшись, и вдруг непрошенная рука тормошит вас: «Вставай!» И вы, измученный бессонностью, с отвращением глядя на ослепляющий мир, что скажете вы мучителю, как не выругаетесь как-нибудь пообиднее?

Натрудив руку, он переменял позу и, продолжая раздумывать, оперся на оба локтя. Помню, тогда вошла Тереза и принесла карты, и мы долго играли и ссорились мило, ибо Безобразов умел как-то особенно мило и степенно шутить за игрой. Я помню, мы тогда очень полюбили карты: и что может быть печальнее этого?

Кончив играть, мы пили чай с молоком и читали газеты, а Тереза под большим абажуром строила карточные дома невероятной крепости, так что на них можно было положить тяжелую книгу. Но за всем этим Аполлон Безобразов следил каким-то вдруг сообразившим что-то опечаленным взглядом, и во внезапной умудренности этой крылось для нас близкое и, увы, еще большее горе, чем в прошедшей его невнимательности.

И вот то, что готовилось, случилось наконец. С утра, уже привыкший к дождю, я проснулся как бы в другой стране, а в раскрытом окне небо было чисто, прозрачно-лазурно, и все было отчетливо видно даже на дальней итальянской стороне. Ярко вдали выделялись свежекрашенные крыши дач, с улицы слышались голоса, и все было так чисто и отчетливо, что мне стало ясно, что пришла осень.

В горах чуть заметная желтизна оттеняла чисто вымытую зелень лесов, и небо было уже не летнее, полное солнечной пыли и тишины, а высокое и бледное, вдали у горизонта незаметно белея и переходя в тончайший слой облаков. И так по-новому все было вокруг прекрасно: и телеграфные столбы с их фарфоровыми птицами, и тень дома, и сырой, напоенный влагою сад, и близкое характерное потоптыванье ослика по неверным камням подъема, что я понял, что уже не увижу вскоре всего этого.

Так в бескрайнем осеннем сиянии мы пили чай на остекленной веранде и, как будто сговорившись, все молчали и

устало, как выздоравливающие, щурились на свет. И вдруг в столовую спустился Безобразов, неся на руке легкое пальтецо и дешевый картонный чемодан, вероятно, почти пустой. Он, видимо, собрался с силами и казался вдруг совершенно здоровым.

Долго он пил чай, ел хлеб и фрукты и, не думая ни скрывать, ни объяснять свое решение, читал внимательно газету. Он даже усмехнулся и сказал Зевсу:

– Этот Примо Карнера обязательно будет чемпионом мира. Тебе, Тиша, конкурент.

Но Зевс только промычал что-то. Потом, наевшись, он попрощался с нами, как будто каждому хотел что-то сказать напоследок. Богатырски толкнул кулаком Зевса в грудь, на что тот только криво ухмыльнулся, коротко пожал руку Терезе и вежливо, чуть церемонно, попрощался с Авероэсом, который даже встал при этом и смутился, но ничего не нашелся сказать.

Когда он сходил с перрона, весь освещенный сиянием осеннего неба, Терезе вдруг захотелось крикнуть, побежать за ним, но в ту же секунду с такой же отчетливостью ей стала ясна бесполезность этого, она сдержалась и даже отвернулась немного, но когда, вслед за поскрипываньем гравия, жалобно задребезжала садовая калитка, она не выдержала и повалилась лицом на диван, на котором сидела. Зевс сидел, низко опустив кудлатую голову. Авероэс, стараясь не видеть Терезы, все поправлял и расправлял свою газету, а я в нестерпи-

мой тревоге не знал, буквально не знал, что делать. Наконец, я сорвался с места и долго бежал по ярко освещенной солнцем дороге, потом, не видя никого, сообразил, что ошибся направлением, задыхаясь, дотащился до вокзала, но только, когда и там никого не найдя, я, отупев от усталости, возвращаясь, проходил по трамвайному мосту над другою улочкой, я увидел Безобразова, который не спеша шел по солнечной стороне.

– Безобразов! – крикнул я и весь сжался, ожидая недовольного ответа.

– А, это вы!

– Слушайте! Подождите, я сейчас спущусь к вам!

– Нет, я спешу.

– Но почему же вы не едете с нами, ведь мы возвращаемся в среду?

– Не знаю... так...

И опять это спокойное «так» прямо парализовало меня на месте, как тогда, помню, в один из наших первых разговоров.

– До свиданья, – сказал Безобразов, помолчав.

– Прощайте, – пробормотал я, еще не веря, что все кончено и что сейчас он и взаправду уйдет навсегда. Но тело его пришло в движение и, побеждая земное притяжение и подчинясь законам механики, физики и биологии, начало двигаться в сторону высокой бетонной башни железнодорожной цистерны, уже окруженной желтыми листьями и ярко выделявшейся на бездонно-голубом небе. Так он дошел до угла,

остановился, закурил таким знакомым жестом и исчез, оставив на мгновение за собой голубое облачко дыма. И вдруг страшная пустота и усталость охватили меня. Даль показалась мне грубо, мучительно-яркой и все – вычурным, оставленным, пустым и ненужным до слез. И даже не хотелось возвращаться домой, ибо и там все потухло, свернулось и ушло в прошлое.

Долго, нарочно плутая, я шел домой. Купил зачем-то спортивные журналы, но тотчас же и это показалось мне ненужным. Разве не кончилось, кончилось теперь все это, все, что нас окружало, все, чем мы жили? И вдруг слезы, как единственное освобождение и как Иисус, неудержимо пришли ко мне, и, не могучи идти, я сел на скамейку и надолго погрузился в их безысходную глубину. Ибо слезы есть единственное мое общение с Иисусом, но зато совершенно реальное, физическое, и я до сих пор считаю его самым совершенным.



## Глава XVI

*Où sont nos amoureuses?*

*Elles sont au tombeau:*

*Elles sont plus heureuses*

*Dans un séjour plus beau.*

*Gerard de Nerval*<sup>77</sup>

В ту осень в Париже была серая, туманная, теплая погода. Деревья уже желтели, но еще неравномерно распределена была желтизна, и в то время, как редкие каштаны около Люксембургского сада стояли совсем золотыми, иные высокие деревья оттеняли их желтизну своею еще нетронутой темною зеленью. Неизъяснимая нежность была разлита в воздухе, и на белом матовом фоне красив был неравномерный серый цвет каменных зданий, омытых дождями и побелевших на выступах. В этом идеальном освещении флаги и вывески виднелись ярко, хотя надписи не были хорошо видимы.

Было воскресенье. Улицы, освобожденные от автомобилей, казались шире и слабо лоснились. Люди шли медленнее, они были чисто вымыты, тщательно одеты, особенно рабочий люд, и все в трудовом и экономном городе дышало услугою самодовольного отдыха, оправданного недельной спешкой. Звуки долетали как бы приглушенно, но четко, слыша-

---

<sup>77</sup> Где ж наши-то милые? Они лежат в гробу: Они вполне счастливые В гробу, словно в раю. *Жерарде Нерваль (фр.)*.

лись даже искусственные ручьи, которыми заботливый муниципалитет омывает асфальты.

Было, может быть, около трех часов, когда, поднявшись мимо аляповатых, но таких знакомых университетских зданий, мы вышли на rue Soufflot<sup>78</sup>. Воздушный балаган Пантеона был налево: бесформенный, как почти все здесь, он, почернев, уже давно сросся с пейзажем и приобрел своеобразную красоту, рождающуюся от сложного и привычного сочетания цвета старого камня, белого неба, лоснящейся мостовой, скудной зелени в саду музея Генриха Четвертого и уличного фонаря с зеленым стеклом у остановки автобуса «S» – Place Contrescarpe – Porte Champerret<sup>79</sup>. Как и всякое хорошо знакомое здание, милое своим циклопическим постоянством, он как будто говорил какую-то привычную фразу в ответ на мое мысленное дружественное обращение:

– Ага, стоишь!

– Да, стою, – ухмылялся он, как бы переминаясь с ноги на ногу.

– Ну, стой, старый, – отвечал я, совершив обряд, как классически-ритуально говорят между собою французы при встрече.

Направо был Люксембург с его разноцветной осенней растительностью, а за ним чуть видимая в тумане Эйфелева башня, чудо безвкусия и бездна прелести девятисотых годов,

---

<sup>78</sup> Улица Суффло (*фр.*).

<sup>79</sup> Площадь Контрескарп – Порт Шамперрэ (*фр.*).

когда железо изгибалось, как живое, а камень легко принимал растительные формы. Сентябрьский воздух, уже тайно охлажденный, но все еще теплый, мягко омывал и сглаживал все, как общий тон на картинах Коро, и его созерцание по временам надолго отвлекало мое внимание, осушая слезы во время медленного воскресного шествия от rue Saint-Jacques<sup>80</sup> до бульвара Saint-Michel<sup>81</sup> и оттуда мимо Пантеона до rue de la Sante<sup>82</sup>, где против тюрьмы за чисто выкрашенными резными воротами в теплом сиянии опадающих каштанов Тереза молится ныне за нас и за всех.

Зевс шел впереди. Он, кажется, вообще не сказал ни одного слова в теплый осенний день. Но вся его огромная спина с высоко поднятыми плечами и руками, глубоко засунутыми в карманы, выражала искренний и молчаливый протест против совершавшегося. Он теперь опять ездил на ситроевском такси, но, по инстинктивной деликатности, освободился в это воскресенье, вероятно, только для того, чтобы не сокращать автомобильной тягой наших последних общих минут. Может быть, он даже верил, что я уговорю Терезу во время дороги, болью, слезами ее умолю. Но тотчас же ясно стало, что, конечно, нет, ибо так иллюминативно-мгновенно ломалось все в ее жизни и против ее воли устанавливалось по-новому; так однажды утром проснулась Тереза с мыслью

---

<sup>80</sup> Улица Сен-Жак (*фр.*).

<sup>81</sup> Сен-Мишель (*фр.*).

<sup>82</sup> Улица Санте (*фр.*).

о том, что «разрешение» пришло, так вдруг она узнала Безобразова, и так мгновенно она смирилась и поняла, что ничего нельзя сделать с его жестоким счастьем; и вот теперь опять, после того как, казалось, уже ожила немного, стала иногда шутить с нами, сама ходить с мешком на рынок, готовить, даже стирать, читать газеты по вечерам и даже пошла с нами раза два в синема, ибо с тех пор, как Зевс работал, денег стало много, – вдруг в одно прозрачное сентябрьское утро не встала вовсе с кровати, два дня пролежала, отвернувшись к стене, ничем хотя и не больная, а на третий тщательно оделась и причесалась, убрала все в двух наших хаотических комнатах, приготовила обед и только к концу его, когда мы с Зевсом уже раза два переглянулись, не смея надеяться, что гроза прошла, вдруг объявила, что завтра уходит в кармелитский монастырь и что решение ее окончательно. И все слезы мои, все доводы Зевса остались тщетными.

Купленный и нетронутый пирог с орехами был с горечью выброшен мною в ведро, хотя, выбрасывая, я все же отломил от него кусок и, глотая слезы, с презрением к себе, изжевал его за ширмой. Ночью я даже доел его весь. Поздно, в три часа, лестницу огласили тяжелые нетвердые шаги, и вдруг с треском под страшным ударом ноги отворилась дверь. Однако, войдя, совершенно пьяный Зевс присмирел, закрыл дверь за собою и, опустив голову, не раздеваясь, мокрый от дождя, повалился на слишком короткую для него кровать.

Не смея его беспокоить, я устроился в кресле, где, желая думать до утра, тотчас же заснул. И вдруг очнулся в ярком солнечном дне и, вскочив, бросился в комнату Терезы, где уже стоял новенький кожаный чемодан, подаренный ей Авероэсом.

Так шли мы, Зевс впереди немного, тяжелой своей переваливающейся походкой борца, огромный и хмурый, надвинув форменный свой картуз на самые глаза. Тереза шла рядом, а я позади немного, как будто стараясь задержать шествие. Самое ужасное было то, что на середине его, примерно на углу бульвара Port-Royal, я даже развеселился немного при виде какого-то необыкновенно неуклюжего щенка, кувывкавшегося на большой взрослой цепи. Тереза тоже заинтересовалась щенком, она даже присела, потрепала его и взяла за обе лапы. Но степенная старуха, выйдя из зеленой лавки, заявила нам: «Je n'aime pas beaucoup qu'on tripole mes chiens»<sup>83</sup>, – и мы пошли дальше.

Теперь пути оставалось немного, и все казалось мне, вот что-то случится необычайное, что-то нарушит это недопустимое оцепенение; но страшно быстро, как самодвижущийся, прополз высокий забор монастырского госпиталя, мелькнул прекрасный бульвар Араго, весь усыпанный листьями, и вдруг мы остановились.

Тереза круто повернулась.

– Прощайте, храни вас Бог! – сказала она и медленно пе-

---

<sup>83</sup> «Не люблю, когда трогают моих собак» (*фр.*).

рекрестила и поцеловала меня и Зевса. Целуя ее, я почувствовал на губах соленый вкус слез и что-то неуловимое, запах какого-то одеколона, и я все думал, что вот она скажет что-то, объяснит нам что-то, и опять зарыдал. Тереза тогда обняла мою голову и, утешая, промолвила с печалью и горечью:

– Довольно, хранила и не уберегла, теперь Христос сохранит вас, – и хотела еще что-то прибавить, может быть, то самое главное, но вот дверь приоткрылась, и монахиня показалась на пороге. Тереза оторвалась от меня, и, показалось мне, громко, как гром, захлопнулись ворота. Тогда слезы мои неудержимо вырвались наружу. Я прислонился к стене, я сел у стены, не желая ни уходить, ни жить более. Но могущественная рука ласково и твердо поставила меня на ноги, и, провожаемые сочувственным взором молодого узкоплечего городского, стоящего на той стороне, на углу тюрьмы, мы двинулись в обратный путь.

День был все еще светлый и такой нежный, что вдалеке, над куполом церкви Val de Grace, бледная, чуть заметная полоска синевы вовсе не изменила форму, когда мы вновь увидели ее на обратном пути; но вечер был уже близок.

У ворот огромного дома направо какие-то оживленные русские голоса переговаривались, уславливаясь о встрече:

– Так не опаздывайте! В восемь с четвертью.

– Да! Да! Идем скорее, Володя.

Шлепнула автомобильная дверца, и маленький Amilcar

выкатился на мостовую. На бульваре Port-Royal, напевая, катил зеленый трамвай устарелой конструкции, и, смотря на него, я почему-то опять заплакал. Высокий автомобильный фургон несся вслед, стараясь его обогнать, в то время как незастегнутые кожаные его фартуки развевались и хлопали сзади.

На углу rue Saint-Jacques неуклюжей собаки не было, и улица казалась темнее. Все здесь было по-старому, и уже вечерние газеты лежали стопкой у газетчика. Так, ничего не соображая, даже почти не думая, устав от слез, поднялись мы по темной лестнице на третий этаж. Окно выходило на какую-то архитектурную неурядицу – кусок старого дворянского дома, переделанного в декоративную мастерскую. Соседний дом был под питейной торговлей и стоял в глубине небольшого отступления, которое город заставляет делать подрядчиков с целью расширения улиц, но и ему самому было не меньше ста лет. Между пустыми столиками лежала на боку кошка, а в самом углу примостился сапожник. А над всем этим – множество крыш, покрытых почерневшей черепицей, прилаживаясь одна к другой, а над ними – белое пустое небо.

Продолжая ни о чем не думать, я сел на продавленное кресло. Так видны были только одни крыши, но яркая белизна неба резала глаза, и я закрыл их.

Так просидел я довольно долго, не двигаясь. Я думал теперь о предполагаемом внутреннем устройстве монастыря,

о тяжелой работе послушника, о мытье плиточных полов, о грубом обращении с иностранцами, хотя Тереза была француженка, о всевозможных препятствиях, чинимых монахиням, хотящим вернуться на волю. И вот уже я представлял себе Зевса, плечом высаживающего монументальную дверь, разбрасывающего каких-то садовников (почему именно садовников?), освобождающего Терезу, и вдруг понял, что ничего этого не будет, что Терезина воля непреодолима, что вообще у Терезы никакой воли нет, а есть непреодолимая ее форма, внутреннее предопределение, духовная необходимость.

Все стало темно вдруг передо мною, я как-то весь сжался. Холодная судорога ошибки, какой-то огромной метафизической измены заставила меня сжаться, и я даже ногтем больно нажал на палец, чтобы насильно отвлечься.

Слезы опять покатались из закрытых глаз. Затем наступило какое-то небытие, нравственное переутомление, и вдруг тихий, неверный, но такой знакомый звук буквально разорвал мне сердце. Это Зевс, лежа на кровати, положив свои огромные пятки на высокий деревянный простенок в ногах, тихо играл опять, как тогда в Италии, на дешевой губной гармонике:

Поздний вечер, день ненастный.  
Нельзя в поле работать...



И все сумерки мира, все одиночество всех миров сдавило мое сердце. Я круто повернулся, хотел крикнуть ему что-то, но смолчал, пораженный смиренным величием каким-то, которое было во всем этом зрелище – и в недопитой бутылке с плавающей внутри пробкой, и в огромных ступнях в заношенных рваных носках, и в тихой этой, бесконечно незлобивой православной песне. И сколь глубже была ее крестьянская умудренность смиренная всех гордых моих отвлеченных утешений, не утешавших.

«Блаженны смиренные» – вот десятая православная заповедь, средоточие скитских уставов и лесного подвижничества. И не слабый, не больной, нет, именно этот широкогрудый сектант Илья Муромец тихо играл в темноте. И конечно, только он знал – почему – и прощал добродушно всех нас, и только его спокойная земляная вера спасла меня тогда от горшего зла.

Снова я повернулся к окну и весь съезжился в кресле.

Прощай, девки, прощай, бабы!

У-угоняют,

Угоняют нас от вас

На далекий на Кавказ...

Потом нескладные нежные звуки прекратились. Тьма медленно наполняла комнату, и уже углы ее и закопченный потолок тонули в ней. И вдруг дивно знакомый и невыразимо печальный равномерный звук прибавился к ней, и я, не

открывая глаз, уже знал, что на улице снова пошел дождь.

*Париж, 1926–1932*